

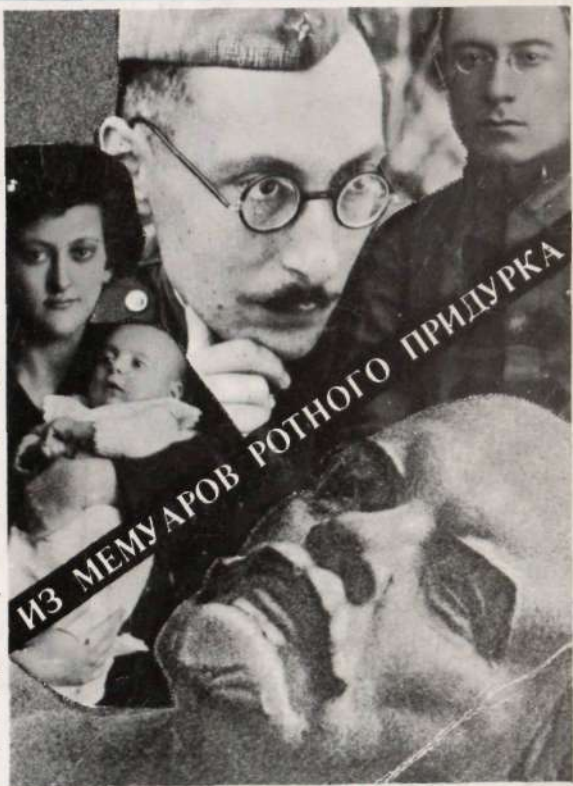
ВРЕМЯ ИДЕИ 29 1978

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ПРОЗА ФЕЛИКСА КАНДЕЛЯ
- "МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ" И ТОТАЛИТАРИЗМ
- СТАБИЛЕН ЛИ СОВЕТСКИЙ РЕЖИМ?
- ПОПЫТКА РЕКВИЕМА
- В ЗАЩИТУ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА
- РЕПОРТАЖ О СОЖЖЕНИИ ЧЕМОДАНА
- ИЗ НАСЛЕДИЯ ВВЕДЕНСКОГО

Лев Ларский

"ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ!" — документальная героико-сатирическая баллада о жизни нестроевого солдата



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

29
1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1978

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯАРИВ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47. t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Феликс КАНДЕЛЬ

Два рассказа 5

А. СУ КОНИК

Умные и глупые. 24

Евгений ЦВЕТКОВ

Паук-телепат. 45

ПОЭЗИЯ

Михаил КРЕПС

Повороты пространства 70

АЗ

Баллады для Майи. 76

И. ГАРИК

Родившись в сумрачное время 79

ПУБЛИЦИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ

Круглый стол редакции

Кого защищает "Международная Амнистия"? 86

И. БИРМАН

Советский режим: прогнозы и реальность 99

ПИСАТЕЛЬ И МИР

А. ЯКОБСОН

Фрагменты из Марголина 118

В. ГУСАРОВ

В защиту Фаддея Булгарина 137

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Лев ЛАРСКИЙ

"Здравствуй, страна героев!". 148

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Стихи Введенского 192

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"	
Репортаж о сожжении чемодана	208
Коротко об авторах	218



Феликс КАНДЕЛЬ

ДВА РАССКАЗА

ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ

Она знала заранее, как все произойдет. Они позвонят сразу, лишь только проснутся, где-то посреди "Доброго утра": "Бери такси. Приезжай завтракать". Она, конечно, приедет и застанет Светкиного мужа одетым, Светку в халате, а кровать незастеленной. Они никогда не застилают кровать, потому что в любую минуту она может понадобиться. Они позавтракают втроем: она, Светка и Светкин муж, а потом Светка наденет платье, тут же разденет, наденет другое, опять разденет, и будет это делать много раз, потому что в процессе одевания она больше всего любит раздеваться на глазах у мужа. Потом они пойдут гулять. Скорее всего, в парк. Будут ходить, взявшись за руки, по аллеям, кататься на карусели, визжать на чертовом колесе, обмирать на колесе обозрения и непрерывно есть мороженое. Из парка они поедут в шашлычную. Четыре шашлыка на троих, бутылка сухого вина, кофе с лимоном, пирожные. Потом она захочет оставить их одних, но они ее не отпустят. Они купят торт и поедут пить чай. И опять она захочет уйти, но они ее не отпустят. Они будут смотреть телевизор, курить, играть в карты. Поздно

copyright Феликса Канделя

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и Мы"

вечером, закрывая за собой их дверь, она наверняка будет знать, что они тут же набросятся друг на друга, потому что весь день им хотелось этого и только этого, а потом, счастливые и умиротворенные, начнут ее жалеть. Воскресный день будет заполнен до предела. Они не дадут ей скучать. Они все время будут вместе. Она, и Светка, и Светкин муж. И незастеленная кровать.

Она проснулась рано, когда солнце сбоку ударило по стеклам, пробилось через занавеску и зажгло на обоях волнистые полосы. Комната охладилась за ночь, ветерок с реки выдул вчерашнюю духоту, и она озябла, с ног до головы покрылась гусиной кожей, потому что одеяло неизвестно сколько времени, может быть, всю ночь лежало на полу. Это была ее давнишняя привычка — сбрасывать одеяло, и мама, до самых последних дней своих, вставала по несколько раз за ночь и накрывала ее. Одеяло лежало на полу, платье лежало на полу, и чулки, и белье, сброшенные перед сном, тоже лежали на полу, застланном немецким синтетическим ковром. Она и сама почти все время проводила на этом ковре, углядев однажды в заграничном журнале, на блестящей глянце странице, как веселая и счастливая женщина ее лет на таком же ковре слушает музыку, и магнитофон стоит рядом, и подушки разбросаны по всей комнате. Она попробовала, и это ей понравилось, но почему-то не прибавилось ни веселья, ни радости, и тогда она еще раз внимательно оглядела заграничную картинку и обнаружила на ней присутствие молодого мужчины. Мужчина выглядел из золоченой рамки на стене, и, очевидно, в сочетании с ковром, магнитофоном и разбросанными по комнате подушками создавал атмосферу счастья и веселья.

Она натянула на себя одеяло и, потянувшись за сигаретой, покосилась на портрет в золоченой рамке. Мама и папа, давно уже похороненные, смотрели на нее сверху вниз, смотрели обеспокоенно и выжидающе: и когда она спала, и когда лежала на ковре, и что бы она ни делала. И если посторонним было не понятно, чего родители ждут от нее, отчего беспокоятся, то у нее на этот счет не было сомнений. Она ударила себя по

руке, и сигарета упала на пол. "Ты еще молодая, — громко сказала она. — У тебя еще будут дети". Самое главное — считать себя молодой. Вопреки всему. Даже возрасту. Мы стареем не от прожитого и умираем не от болезней. "Вот я и старый", — говорим мы и на глазах дряхлеем. "Вот и умирать пора", — говорим мы и действительно умираем. Она верила в это непоколебимо, не своей верой — верой матери: мать умерла сразу же после смерти отца, потому что не захотела больше жить. И она на нее не обижалась.

Она поджала ноги, легко выпрыгнула из постели на пол. Окно распахнулось настежь, занавеска, подсвеченная солнцем, надулась горбом, будто за ней кто-то стоял. "Выходи, — позвала. — Будем делать зарядку". Занавеска опала, горб исчез. Она сделала зарядку, облилась холодной водой, тщательно оделась, причесалась, включила радио. "Воскресенье — день веселья, песни слышатся кругом..." Уже началось "Доброе утро", а эти лентяи, эти толстяки, наверно, еще валяются в кровати под гигантским шелковым одеялом, на своем широченном двуспальном ложе, купленном специально, обдуманно, наперекор моде и насмешкам.

Светка никогда не делала зарядку и делать не собирается, а о холодном душе не может думать без содрогания. Она всегда была толстая и ленивая, и только мальчики — одним своим появлением — выводили ее из дремотного состояния, и Светка становилась живой, энергичной, предприимчивой и могла мчаться на свидание в любой конец города, даже если таких свиданий намечалось три в день.

...Она пошла на кухню, поискала в холодильнике — пусто, порылась в шкафу — тоже пусто. Даже крупы, и той нет. Одна соль. Она равнодушно относилась к еде. Была еда — ела, не было — не ела. Но готовить умела и делала это неплохо, особенно когда приходили гости, потому что мама всегда старалась угодить гостям, и она же научила ее готовить, считая это необходимым для женщины. Мама многому ее научила, и папа тоже, и только один вопрос оставался у них запретным все время, только один вопрос, к которому они не знали как подступиться, и боялись за нее, и начали бояться еще со шко-

лы, и когда она приходила с вечеров, с танцев, просто с гуляния, они смотрели обеспокоенно, выжидающе, выглядывали в ней что-то им одним известное. "Все-таки с мальчиком легче", — сказал однажды отец, но она не поняла тогда, что он имел в виду. А они не могли ей объяснить, потому что им самим в отношениях друг с другом все было предельно просто и ясно от первого и до последнего дня жизни, и незнакомы были соблазны и искушения. И ничего они ей не говорили, а только жили спокойно и преданно, и умерли в один год. Сначала он, потом она. "Они жили счастливо до самой смерти и умерли в один день". Все могло быть, как в сказке, но в отличие от сказки осталась после них дочь, для которой своим примером сделали они возможное невозможным, простое сложным. Можно убрать на время фото, можно не замечать выжидающего взгляда отца и матери, можно все — но нельзя ничего, потому что теперь уже не изменишься. Проклятый дар любимых людей. "Дура ты, дура... Идиотка ты, идиотка..." А эти два толстяка, эти жизнерадостные организмы, наверно, кувыркаются сейчас под шелковым одеялом или курят, напустив дыму на всю комнату. Светка курит, как паровоз, и не думает она о детях, и вообще ни о чем не думает с тех пор, как вышла замуж, потому что до этого она думала только о замужестве. У них ничего нету: ни мебели, ни одежды, ни посуды. Все проедают. Но зато Светка покупает самое дорогое, самое роскошное белье, и Светкин муж умирает, глядя, как она разгуливает в нем по комнате.

Уже прошла половина "Доброго утра", а они еще не звонят. Человеку, одетому для выхода, нечего делать в собственной комнате. Она заглянула в почтовый ящик, узнала по телефону точное время, заставила себя прослушать до конца юмористический рассказ, а потом вдруг сразу рассердилась, сбросила платье, — "Идите вы все к черту...", — легла на свой любимый ковер, закурила первую сигарету. Сколько времени они провели со Светкой на этом ковре, готовясь к экзаменам, болтая или просто разглядывая потолок! Светка прибежала шумная, возбужденная, сбрасывала в коридоре туфли и с размаха кидалась на ковер, так, что вздрагивали

стены. В Светке уже тогда было семьдесят килограммов, но они не мешали ей влюбляться, разочаровываться и опять влюбляться, и каждый раз она должна была рассказать все своей единственной подруге, а та молча выслушивала и никогда ничего не рассказывала взамен. И только однажды, не сказав подруге, Светка исчезла на неделю — вещь, небывалая в их дружбе, — а потом, не успев появиться, рухнула с размаха на ковер и тут же все рассказала, как они жили в чьем-то садово-огородном домике, как было ужасно холодно и как они спали вдвоем в одном спальном мешке, тесно вжавшись друг в друга, потому что мешок был узкий, Светка — толстая, и для того, чтобы в нем поместиться вдвоем, — только для того и ни для чего другого, — нужно было снять с себя лишние одежды, и лишнего оказалось так много, что оставшееся уже совсем было лишним и глупо было бы его не снять. "Но между нами ничего не было..." — пропела Светка, возбужденно округляя глаза, а она, выслушав без удивления и зависти, только подумала, что это нечестно. Или надо давать все, или не давать ничего. А потом они повзрослели, и повзрослели их мальчики, и надо было решить для себя этот вопрос, решить однажды и навсегда, и вот тогда они начали курить и разглядывать потолок, лежа на немецком синтетическом ковре. Потому что они выбрали себе самый сложный путь: решать этот вопрос все время, изо дня на день, вместо того, чтобы решить его однажды и больше к этому не возвращаться. Вот с этих пор и начала Светка ревниво относиться к подруге, потому что в Светке уже было за восемьдесят килограммов, да и отдельная квартира — считала Светка — повышала шансы на успех, а она не могла допустить, чтобы ее подруга раньше ее вышла замуж. Это был вопрос принципа. И это охладило их дружбу, сделало ее более нервной, и одновременно увеличило и без того большое время, которое они проводили вместе. Как будто они боялись оставить друг друга без присмотра. А потом появился Светкин жених, который мгновенно стал Светкиным мужем, и они обалдели, они полгода были невменяемы, они даже поглупели — особенно он, потому что Светка и так была

глупой, и ее дополнительное поглупение прошло незамеченным, — они не могли думать ни о чем другом, и ему пришлось уволиться с работы, которая была связана с длительными командировками, а он никуда не хотел ехать, да и Светка его все равно бы не отпустила. Когда они шли по улице: она — плотная, живая брюнетка, и он — чуть ниже ее ростом, тоже брюнет, как брат и сестра, — прохожие оборачивались и глядели им вслед. Такая от них исходила сила, такое взаимное желание, что люди мрачнели, грустнели, раздражались от зависти, а они в любой компании бессознательно искали укромный угол и замирали, прижавшись друг к другу, и он шептал: "Поехали домой... Сразу в такси — и дома!" Из театра, из кино, откуда угодно, они могли броситься на улицу, остановить любую машину, чтобы через пять минут оказаться дома, за закрытой дверью, где их ждала никогда не убираемая постель... И только через полгода Светка вспомнила о своей подруге.

"Воскресенье — день веселья, песни слышатся кругом..." Десять часов утра, закончилась передача "Доброе утро", а эти два толстяка, эти счастливые кретины, которые весь день могут проваляться в кровати, у которых медовый месяц тянется второй год, никак ей не позвонят. Можно, конечно, самой пойти в парк — чего она не видала в этом заплеванном парке? — можно поехать на дачу к знакомым, где они сидят со своими детишками, — чего она не видела на этой идиотской даче? — можно просидеть весь день дома, только сбегать в магазин за едой, — а это уж совсем тоска смертная, хоть волком вой, — да и привыкла она, что все воскресенья они проводят вместе: она, и Светка, и Светкин муж, потому что не может Светка не пригласить свою единственную подругу, и стесняется при ней проявлять свои чувства, да разве можно что-либо скрыть от человека, который сильнее всего реагирует на то, что пытаются скрывать? И иногда в порыве любви и жалости начинает Светка ее сватать, знакомит с друзьями мужа, а друзьям уже за тридцать, друзья уже старые холостяки или разведенные, что еще хуже, потому что разведенные уже прошли однажды через все стадии знакомства, роб-

ких намеков, бессонных ночей, бурных объяснений, и нет у них сил и желания начинать все сначала, как нет любви, которая одна только может дать силы и умение совершать это повторно. И не получается у Светки ее сватовство, и утихает она на время, а потом вдруг схватится, пожалеет свою одинокую подругу и начинает все сначала.

Она выключила радио, пошла в коридор поглядеться в зеркало. Когда-то они делали это вместе со Светкой, и наряжались по-всякому, и хохотали до колик, когда менялись платьями и толстая Светка с трудом втискивалась в ее наряды, а она барахталась в обширных Светкиных одеждах, и один раз даже пошли в таком виде на вечер, где Светка шокировала весь курс, потому что платье было значительно выше колен и тогда еще не подозревали о моде, которая надвигалась на женщин. Потом эта мода пришла, и Светка уже на законном основании открыла свои ноги для всеобщего обозрения, а она никак не могла решиться, хотя уже тысячи раз проверяла перед зеркалом, как это будет выглядеть, и каждый раз оказывалось, что выглядит это совсем неплохо. Но одна мысль о том, для чего это делается, убивала все желания. "Дура ты, дура..." — сказала она зеркалу и вдруг, как это часто теперь случалось, расстроилась неизвестно отчего, но, заставив себя сосредоточиться, поняла сразу, что было причиной расстройства. "Там-тара-рам-тарарам..." — орала пластинка из ненавистного соседнего дома, и не дикие звуки необычайной громкости расстроили ее, а все то, что вспомнилось от этой песни, от ее привязчивого мотива. И она тут же оглянулась на портрет в золоченой рамке, откуда на нее внимательно смотрели родители. Будто они все знали и с тревогой ожидали продолжения...

Это случилось в командировке, в один из пустых вечеров в чужом городе, когда со скуки она пошла на концерт и глядела там на фокусника, акробата, жонглера, и слушала песни, в том числе "Там-тара-рам-тарарам...", и пел их красивый, холеный мужчина — они все со сцены выглядели красивыми, но только он один холеным, — а потом она вернулась в гостиницу, села ужинать, и тут постучали в дверь и зашел он,

этот певец, — не такой уже красивый, но такой же холеный, — и зашел он по-соседски за солью. Он тут же представился, сказал комплимент и перетасил к ней свою еду, свой кипя- тильник, вскипятил воду в графине, приготовил чай, и они поужинали вместе, и он много и смешно рассказывал, а она хохотала, не подозревая, что рассказывает он эти истории уже в тысячный раз и что застольный репертуар накатан годами частых встреч и новых знакомств. Во втором часу ночи они встали из-за стола, и, прощаясь у двери, продолжая рассказывать и смеяться, одной рукой он обнял ее, а другой — выключил свет. Она оттолкнула его, а он нашел на спине застешку-молнию и одним движением раскрыл до пояса платье, будто распахнул ее. Она ударила его по ладони, а он ловко сдернул платье с рук, так, что оно повисло внизу, у пояса, и холодок от раскрытой форточки охватил ее плечи. Тогда она ударила его по лицу, но он понял, что это несерьезно, потому что все еще держалась несерьезная атмосфера вечера, и она поняла, что он это понял, и уже не сопротивля- лась, удивляясь только его быстрой ловкости, вздрагивая от прикосновения чужих рук. "Да! Да! Да!" — решило за нее тело, бьющаяся толчками кровь, разбежавшиеся, будто на- рочно, мысли, и уже ничто их не разделяло, ни одежда, ни расстояние... — и тогда она сказала: "Нет!"

Родители, милые родители в золоченой рамке, можете быть довольны. Ваша дочь выдержала экзамен!

Он отошел к окну, закурил и долго молчал, пока не доку- рил сигарету до конца, а потом вдруг запел. На незнакомом языке, незнакомую мелодию. "Что это?" — тихо спросила она. "Молитва". Он пел долго, может быть, целый час, одну молитву за другой, а она лежала поперек кровати, там, где он ее оставил, скрытая от его взглядов одной только темно- той, и вот тогда в первый раз ей пришла в голову мысль о ребенке, о ребенке, который у нее обязательно будет, и о муже, которого может и не быть. А потом, без всякого перехода, он начал рассказывать про Каунас, про своих роди- телей, про то, как они бежали от немцев и взрывом бомбы его отбросило в сторону и засыпало, а родители, найдя одну

лишь матросскую шапочку, оплакали воронку от бомбы — место гибели сына и побежали дальше, а его на другой день откопала какая-то женщина, услышав слабые стоны. Она привела его домой, и приютила, и повесила на шею крестик, чтобы обмануть немцев, но выдал подлюга-сосед, и его увезли на сборный пункт, где собирали евреев. Их отвезли в лес, раздели догола и уводили по трое, а потом повели его и с ним двух мужчин, и он, восьмилетний, шел посреди них, как рав- ный, и тут офицер-немец углядел крест у него на шее. Его спас этот крест, и спасло то, что при рождении ему не делали обрезания, потому что родился он раньше времени и долго болел, да и хватило ума соврать в последнюю минуту, что он не еврей, а литовец. Офицер-немец поверил ему и вывел об- ратно, и дал из груды одежды первую попавшуюся, и, путаясь в чьих-то огромных, по горло штанах, надетых на голое тело, он пошел навстречу обреченным, и тут какой-то мужчина в штатском схватил его за руку, усадил на велосипедную раму и увез к себе, пока немцы не передумали. Это был мест- ный ксендз, приезжавший сюда каждый раз после того, как мимо его дома проезжали грузовики с очередной партией евреев, и он уже знал, что за этим последует, и ехал вслед за грузовиками, и молился на ходу, и молился на месте рас- стрела, пока их уводили по трое, и немцы не решались его трогать. Он прожил у этого ксендза всю войну и пел в косте- ле, потому что уже тогда у него обнаружился голос. И когда он кончил рассказывать и ушел к себе в номер, она проворо- чалась без сна до самого утра, терзая себя, а днем, уезжая в аэропорт, зашла к нему попрощаться, как к старому другу, и не было у нее чувства неловкости, а только — любовь. Она постучала, вошла в номер и увидела молодую женщину. "Извините", — сказал певец и смутился, а женщина мельком взглянула на нее, кивнула, как старой знакомой, а уже потом застегнула чулки и надела через голову юбку. Надела естест- венно, без тени смущения, как это делается на пляже. Она быстро попрощалась, не глядя ему в глаза, и выскочила из номера, и уже потом, сдавая ключи, видела, как эта женщина шла одна по длинному нескончаемому коридору под тяже-

лым взглядом дежурной, и он не вышел ее проводить. Да женщина, наверно, к этому и не привыкла.

"Там-тара-рам-тарарам..." — с тупым упрямством орала пластинка, и не было от нее спасения, — "Один маленький пулеметик и много-много патронов...", — и рассердившись в который уж раз за это утро, — "Катитесь вы все...", — она ушла в ванную и посидела там в прохладном полумраке, но песня пробивалась даже туда. Она включила воду, чтобы совсем ее не слышать, и решила вымыть голову, потому что не пойдет уже никуда, но тут же подумала, что не услышит звонка из-за шума воды, расстроилась от собственной беспомощности и вышла из ванной. Она разделась и легла под одеяло, и родители, как обычно, смотрели сверху вниз, но не заснешь в двенадцатом часу, и ничего не изменишь, ничего не придумаешь, не встанешь на улице с криком: "Вот она я!" и опять она подумала о ребенке, — что-то часто стала приходиться в голову эта мысль, — о своем ребенке, который обязательно будет у нее, только не теперь, а позже, когда она окончательно решится на это, отбросив все иллюзии... А эти эгоисты, эти скоты и не думают звонить, и если даже позвонят, никуда она уже не пойдет, потому что перехотелось, и пропади пропадом этот отдых, — скорей бы наступил понедельник с его рабочей сутолокой, — и тут она схватила трубку и набрала Светкин номер.

"Мы только проснулись, — соврала Светка, хихикая, будто ее щекотали. — Бери такси. Приезжай завтракать". Она оделась, умылась и поехала к ним. Она застала Светкиного мужа одетым, Светку в халате, а кровать незастеленной. Они позавтракали, посмотрели, как Светка оделась, разделась, опять оделась, и пошли гулять в парк. Они ходили, взявшись за руки, по аллеям, катались на карусели, визжали на чертовом колесе, обмирали на колесе обозрения и непрерывно ели мороженое. Из парка они поехали в шашлычную. Четыре шашлыка на троих, бутылка сухого вина, кофе с лимоном, пирожные. Потом она захотела оставить их одних, но они ее не отпустили. Они смотрели телевизор, курили, играли в карты. Поздно вечером, закрывая за собой их дверь, она наверняка зна-

ла, что они тут же набросятся друг на друга, потому что весь день им хотелось этого и только этого, а потом счастливые и умиротворенные, начнут ее жалеть. Воскресный день был заполнен до предела. Они не дали ей скучать. Они все время были вместе. Она, и Светка, и Светкин муж. И незастеленная кровать.

ЮЛЕНЬКА И КИРИЛЛ

Гостей спровадили в первом часу.

С шумом и топотом они спустились по лестнице, грохнули напоследок входной дверью, загомонили во дворе. "Горько!" — заорал кто-то дурашливо тонким голосом, и все подхватили, заблажили, заверещали: "Горько! Горько!.." Молодожены долго не подходили к окну, и тогда тот же дурашливый голос завопил на весь двор: "А они уже...", и гости поумирали со смеху, дрыгая ногами, повалились на скамейку, на газоны, ржали до слез, рыдали и всхлипывали. И тогда молодожены высунулись в окно, приветливо замахали руками и махали до тех пор, пока последний гость с радостными воплями не скрылся за углом.

— Все, — выдохнул Кирилл. — С этим все...

Он торопливо закурил, суетливо забежал по комнате, огибая стол, словно его подстегивали, а Юленька села на диван, сложила руки на коленях, устало оглядывала горы грязной посуды.

— Как я это вытерпел... Как вытерпел — ужас-то какой!

— Не надо было затевать, — тихо сказала она. — Нагородили огород...

— Надо... - заволновался Кирилл. — Только так... Иначе подозрительно, — он обежал кругом, встал перед ней: — Я понимаю, чего вам это стоило...

— Бросьте, — отмахнулась. — За такие деньги можно и потерпеть.

— Милая вы моя, хорошая... — Кирилл чуть не прослезился. Но иначе было нельзя. Вы понимаете? Иначе нельзя...

— Понимаю.

— Для меня это очень важно... — он упрямо стоял на своем. — Очень! Я не могу рисковать.

— Ну, хватит уже, — грубо оборвала Юленька.

Кирилл вздрогнул, будто споткнулся на бегу, тревожно поглядел на нее.

— Я помогу... — затормошился он и подхватил со стола тарелку с объедками. — Куда выбрасывать?

— Сама уберу, — неприветливо сказала Юленька. — За те же деньги.

Кирилл сконфузился, поставил тарелку на прежнее место, попутно завалил бокал с вином, и розовое пятно поползло по скатерти.

— За те же деньги, — с едким наслаждением повторила Юленька. — За те же...

Помолчали.

— Пойду, пожалуй, — неуверенно заметил Кирилл.

— Подождите. А то с ними еще столкнетесь.

— Да, да... Вы правы, — он выглянул в окно, огляделся вокруг, а потом вдруг хлопнул в ладоши, громко возликовал: — Получилось! Ей-Богу, получилось! Назло всем...

Он крутнулся на каблуках, подскочил к магнитофону, ткнул пальцем в клавишу. И магнитофон возбужденно выкрикнул прямо ему в лицо:

— Это я!.. Я их познакомил!

— Познакомил — и молчи в тряпочку.

— Юленька! Твое здоровье!..

— Кирилл, дай я тебя поцелую... Невеста, отвернись!

— А она ревнует... Смотрите — невеста ревнует!

— Раскраснелась-то как, похорошела...

— Юленька! Под каблук его! Под каблук...

— Чокнемся!.. С кем чокнемся? Скорее — вино испаряется!

— А чего это молодые задумались? Ай-яй-яй... Молодые, вы чего задумались?

— Молодые, пью за вас!

— А я за Юльку. Юлька! Выпьем, как женщина с женщиной. Они разве нас поймут?

— А где он работает, если не секрет?

— Где-то...

— Нигде он не работает. У него прописки нету.

— Вот оно что! Новый москвич...

— За нового москвича!

— Кирилл, мы за вас!..

Кирилл торопливо выключил магнитофон, плеснул в рюмку вина, попросил дружески:

— За нового москвича! Ну, пожалуйста...

Юленька взяла рюмку, но пить не стала:

— В понедельник подам на прописку.

Кирилл сразу взволновался:

— Хорошо бы завтра...

— Завтра они не работают.

Он закурил еще, возбужденно закружил по комнате:

— Я буду забегать изредка. Вы разрешите?

— Это еще зачем?

— Чтобы соседи видели.

— Да ну их...

— Обязательно! Может, придется даже переночевать.

Юленька взглянула на него с любопытством:

— Хотите воспользоваться правами?

— Вы что... — возмутился.

— А что? — просто сказала она. — Вы же мой муж.

Кирилл хмыкнул смущенно:

— К этому еще надо привыкнуть.

— Привыкните, — пообещала серьезно. — Заходите почаще — и привыкните.

— Почаще — неудобно. У вас своя жизнь...

— Какая там жизнь... — тихо сказала она.

Кирилл отвернулся к окну, заметил фальшиво озабоченно: — Главное, прописаться. А там сразу подадим на развод. Она промолчала.

— Нет... — возразил. — Сразу нельзя. Сразу — это подозрительно. Выждем годик.

— Выждем.

— Нет, полгода... Полгода обязательно. И все. Тогда — все!

— Перестаньте! — крикнула. — Ну?!

Он отскочил в угол комнаты, умоляюще прижал руки к груди:

— Простите... Никак не успокоюсь. Эта проклятая свадьба все перетряхнула.

— Сидели бы у себя дома, — с неприязнью заметила она.

— Хочу в Москву, — упрямо сказал Кирилл. — Хочу — и все. Имею я право хотеть?

— А зачем?

— Просто так. Хочу! Понимаете?

— Нет.

— И не поймете, — жестко отрезал он. — И никто не поймет. А это мое право. Ясно вам? Право! — Он схватил со стола яблоко, надкусил, бросил обратно: — Хочу — и все!

— А по мне, — тоскливо сказала Юленька, — уехать бы куда подальше... Были бы деньги.

— Деньги, — заторопился Кирилл, — как договорились. Хорошо?

— Хорошо.

— В два приема. Можно?

— Можно, можно.

— Нет, если вам нужно, я могу и сразу. Займу у кого-нибудь. Только предупредите заранее...

— Вот зануда... — застонала Юленька. — Как вас жена-то терпит?

Кирилл улыбнулся:

— Она у меня славная...

Помолчали.

— Метро уже не работает, — безразлично сказала Юленька.

— Можете тут переночевать.

— Я на такси.

— Можете тут переночевать, — повторила она и усмехнулась: — Первая брачная ночь. Соседи должны видеть.

— Она будет волноваться, — сказал Кирилл.

— Кто?

— Моя жена.

— Я — ваша жена.

Кириллу это не понравилось.

— На полгода, — сухо заметил он. — Только на полгода.

— Ну и что? Полгода вы мой.

— А как вы потом объясните наш развод?

— Вам-то что?

— Интересно.

— Скажу, что вы оказались мерзавцем.

— Не слишком ли?

Юленька засмеялась жестко, с хрипотцой:

— Могу я хоть этим утешиться?

— Это вас утешит?

Она перестала смеяться.

— Идите. Уже можно.

Кирилл надел пиджак, стал закрывать магнитофон.

— Оставьте, — попросила. — В другой раз заберете.

— Я хотел... — замешкался Кирилл и густо покраснел. — Хотел жене проиграть...

— Подождет ваша жена, — грубо оборвала Юленька и ткнула пальцем в клавишу. И магнитофон мечтательно произнес:

— А какое время они выбрали! Весна... Все пробуждается...

— Юленька, за твое пробуждение!

— Молчи, пошляк.

— Ах, так... Тогда тост. Разрешите тост!

— Не разрешаем.

— Дорогие мои! Сладкие! Предлагаю выпить за меня Это я... Я их познакомил. Ура! Дай я себя поцелую...

— Уведите его на кухню. Уведите — пусть проспится!

— Прочь руки! Я сам пойду... Сам! Кто это идет? Это я иду! Куда? На кухню. Зачем? Неизвестно...

— Препротивный человек. Не знаете, кто он?

— Юлькин сослуживец.

— Передайте, пожалуйста, рыбу-фиш. Передайте, кто поближе.

— Слушайте! А вам не кажется все это странным?

— Тсс...

— А чего — тсс?.. Мог бы найти получше и помоложе. Вон их сколько по улицам шастает...

Юленька выключила магнитофон, подтолкнула к Кириллу:
 — Забирайте.
 Он замахал руками:
 — Я оставлю... Потом... Потом заберу.
 Помолчали.
 — Кирилл, — позвала вдруг Юленька, и голос у нее дрогнул.
 — Да?
 — Кирилл... — повторила она, словно пробуя на вкус. — Кирилл. Какое имя — Кирилл...
 — Я пойду, — он опасливо поглядел на нее. — Уже поздно.
 — Вот идет Кирилл, — говорила она нараспев. — Вот пришел Кирилл... Вот вошел Кирилл... Вот сказал Кирилл...
 — Мне пора, — повторил. — А то она одна. В чужой квартире.
 — Кто одна? — рассеянно переспросила Юленька.
 — Моя жена.
 — Я — ваша жена.
 — Прекратите, — рассердился Кирилл. — Каждая шутка хороша один раз.
 — А я не шучу... — прищурилась Юленька. — На месте вашей первой жены я бы понервничала.
 — Нечего ей нервничать.
 — Как знать... Как знать... — и нехорошо засмеялась. — Разойтись легко — сойтись труднее.
 — Она все понимает.
 — Понимать-то она понимает, — согласилась Юленька. — А вдруг вы у меня останетесь?
 — Не беспокойтесь.
 — А если я потребую?
 — Не поможет.
 — А если я скажу, что у меня от вас ребенок?
 — Зачем вы меня дразните? — тихо сказал Кирилл. — Эта проклятая прописка и так всю душу вытянула.
 — Скажите, пожалуйста... — протянула Юленька. — Из него вытянула... А из меня не вытянула? У меня что, души нет? Да я пока одну свадьбу отсидела, вся, может, исплакалась, изревелась, сердце надорвала...

Она кинулась в прихожую, схватила один из свертков, швырнула Кириллу в лицо, и что-то легкое, розовое, с кружевами, медленно повалилось к его ногам.
 — Вот! Берите. Отнесите ей подарок с моей свадьбы... Все равно не надевать... Пусть попользуется за мой счет!
 — Хватит! — завизжал Кирилл. — Прекратите истерику, черт подери!..
 Юленька сразу сникла, ткнулась головой в спинку дивана, полные плечи часто задрожали... Кирилл потоптался в смущении, сел рядом, обнял неловко, погладил по голове:
 — Милая вы моя... Хорошая... Ну, что же теперь делать? Что делать?..
 А она уже прилипла к нему, тыкалась лицом в шею, обмирала, завалилась навзничь, тянула за собой... Кирилл высвободился, встал, отошел к окну.
 — Все... — бормотала она, успокаиваясь, всхлипывая со вздохами, как маленький ребенок. — Больше не буду... Вот увидите. Семейная сцена в первую... в первую брачную ночь...
 И криво усмехнулась, вытирая слезы. И щека задергалась сама собой...
 В дверях Кирилл замешкался.
 — Извините... — сказал. — В этом деле вам досталось больше всех.
 — Ладно, — ответила Юленька и опустила глаза. — Чего там... Лишь бы у вас получилось.
 — Получится, — выкрикнул Кирилл. — Сдохну, а получится!
 Он низко наклонился, поцеловал ей руку, пошел к лестнице.
 — Кирилл, — позвала она. — Скажите — Юленька.
 — Юленька! — крикнул он на всю лестницу. — Милая Юленька!..
 И бодро запрыгал по ступенькам.
 Юленька вернулась в комнату, встала у окна, не мигая глядела, как он бежит по двору, возбужденно размахивая руками, как исчезает за углом...

В кухне что-то грохнуло, кто-то выругался вполголоса, и в комнату вошел мужчина. Мятый, всклокоченный, белая рубашка в пятнах от соуса. Он встал в дверях, повел наливыми глазами.

— Это я... — сообщил мужчина. — Я их познакомил.

— Шел бы ты домой, — не оборачиваясь, глухо сказала Юленька.

Мужчина осмотрел ее сзади, удовлетворенно хмыкнул, подошел, обхватил руками, больно сдавил грудь.

— Обожди, — вяло возразила Юленька. — Посуду уберу...

Но он уже вынимал ее из одежды, как конфету из нарядного фантика...

Ночью Юленька проснулась. Пахло винегретом, окурками из пепельницы, пролитым на скатерть кислым вином. Она встала с дивана, подошла к окну... Луна залила город желтым, безжизненным светом, и дома напротив светились тускло, гладко, как лакированные. В раскрытое окно теплыми вздохами входил воздух, нежно дотрагивался до обнаженного тела, сконфуженно отступал, притрагивался опять... Юленька постояла, покачалась в полусне, послушала, как сопит в подушку мужчина, а потом вдруг застонала хрипло, долго, на одном дыхании, не оборачиваясь, нашарила край стола, захватила в руку угол скатерти и сдернула ее на пол вместе с посудой...

А потом, голая, ползала по полу, подбирала наощупь чашечки, относила в кухню уцелевшие тарелки, мыла досветла грязную посуду, сбрасывала в ведро недоеденные остатки, слушала веселые голоса со своей свадьбы:

— Я больше всех рада за Юленьку! Больше всех...

— Она рада... Мы, что ли, не рады?

— Юленька, голубушка, где вы научились стряпать? Салат — объеденье!

— Кирилл, вам повезло. У вас жена — чудо!

— Эй! Чур, не обижать! За Юльку глаза выдеру.

— Что это вы ее захвалили? Он у нас тоже неплох. Кирилл, я за вас!

— А я за Юльку!

— А я — за обоих!

— За обоих... Конечно, за обоих. Будьте счастливы, мои милые! Любите друг друга, цените, уважайте. Дай вам Бог долгой, счастливой жизни!

— Это я... Я их познакомил!

— Познакомил — и молчи в тряпочку.

МАРИЯ ИОФФЕ

ОДНА НОЧЬ

ПОВЕСТЬ О ПРАВДЕ

На русском и английском языках. Стоимость за рубежом — 7 долларов, в Израиле — 45 лир. На русском языке книга продается: Тель-Авив, магазин Болеславского, ул. Алленби, 72. Вскоре книга "Одна ночь" поступит в продажу на английском языке.



А. СУКОНИК

УМНЫЕ И ГЛУПЫЕ

Бабушка хоть умная. Я даже не ожидала. Она сказала маме:

— Почему ты возмущаешься? О том, что она с Толей до свадьбы жила, ты ведь догадывалась? Не ври, не ври, догадывалась. Почему она в таком случае до Толи не могла с кем-то жить? И вообще, почему ты должна ему верить? Поссорились, вот он со злости и говорит. А может, они условились так говорить, чтобы на нервы тебе действовать. Современная молодежь! Я бы вообще на них внимания не обращала или всех бы их перевешала, ей-Богу!

Вот это я понимаю: или — или! Бабушка права, она молодец, она чувствует: нечего им соваться в наши дела. А мама одно заладила: "Ей еще нет восемнадцати, когда она успела, бандитка, проститутка? Зачем вышла замуж, не могла обожать несколько лет! Хотя теперь я понимаю, почему так рвалась замуж!"

Только все же дурак: зачем он маме все выложил? Что ему — легче от этого стало? Если бы действительно решил со мной порвать... так нет же. Сижу несколько дней назад в сво-

ей конторке (работаю сейчас на фабрике учетчицей, устаю, как лошадь), звонит телефон.

— Это Толя. Тебя можно сейчас увидеть?

— Ну... приходи ко мне на работу.

Через несколько дней является.

— Чего ты хочешь? — спрашиваю.

— Быть с тобой.

И смотрит так тупо. Мне теперь почему-то кажется, что у него глупый взгляд. Раньше не замечала. С другой стороны, что мне делать — к маме идти? Ни за что.

— Ладно, — говорю.

— Я уже комнату снял.

— Сколько?

— Тридцать. И вход отдельный.

Ну, это еще по-божески. А то раньше мы снимали за двадцать пять угол, что за жизнь? Как тут не забеременеть. Конечно, если бы он обо мне думал, тогда другое дело. А то ведь ему наплевать. "Ребенок? Вот и хорошо, пусть будет ребенок". Ничего знать не хочет. Потому мы и поссорились, что я его тогда обманула, сделала аборт. А что же еще оставалось делать?

— Ну что? — говорю. — Легче стало, когда маме натрепался.

Молчит. А потом как сорвется:

— А зачем ты аборт сделала? Сколько можно меня обманывать? Наверное, не от меня забеременела?

— Успокойся, — говорю, — от тебя.

— Зачем же тогда сделала?

Опять за старое.

— Куда мне теперь ребенок, — втолковываю ему. — Ты и сейчас ворчишь, если что-нибудь не успеваю сделать. Начнут пеленки, когда все успеваю буду? А техникум?

— Ничего, как все успевают, так и ты будешь. Как другие живут, так и мы.

С одной стороны, он, вроде, и прав. Другие, в общем, живут. Но то другие, а то — мы сами. В восемнадцать лет я кое-что уже усвоила в жизни.

— Уйдешь с работы.

— И дальше что? Жить на твои сто рублей будем?

Больше всего меня злит, что вокруг все дураки какие-то. Честное слово. Я думала, что хоть Толя другой, так нет. Уже то, что маме натрепался, чего стоит. Теперь предлагает жить, "как другие". Есть другие, у которых по несколько люксовых платьев, всяких шерстяных кофточек и другого барахла. А у меня что? Зачем мне нужно смотреть на тех, кому хуже? Правда, и на тех, кому лучше, тоже смотреть мало проку, только нервы трепать. Но еще усложнять жизнь — последним дураком надо быть.

Маме он, конечно, со злости натрепался. Они друг друга любят, как кошка собаку. Я прекрасно представляю, как мама ему выдавала. Он меня пришел искать, думал, я к маме вернулась, когда мы поссорились после аборта.

— Откуда мне знать, где она? У нас с ней нет ничего общего. Со мной, пожалуйста, не разговаривайте. Замуж ей понадобилось! В семнадцать лет! Не могла подождать, нашла свое счастье. Я не знаю, где она, а если бы даже и знала, все равно не сказала бы. Какой вы ей муж? Я говорила и всегда буду говорить: что это за муж, который тебя не жалеет? Да, я хочу, чтобы она от вас ушла! Какую вы ей можете дать жизнь? Вы взяли ее девочкой...

И так далее, и тому подобное. В этот момент она даже радовалась, наверное, что мне пришлось сделать аборт — могла, наконец, высказаться с основанием. Вот она, человеческая глупость. Радовалась, радовалась, торжествовала, хотя в другой момент вопила бы и кричала, что лучше ей десять таких операций перенести, чем ее доченьке — одну. Уж я свою мамочку знаю. Не то, что она злая, просто дура. Ей главное — высказаться. А Толя тут, видимо, и не выдержал: "Какая, мол, она девочка, давно забыла, что это такое". Что тут с мамой было (судя по рассказам)! Сначала она взяла тон, будто крайне возмущена инсинуациями и намека допустить не может. Поносила Толю на чем свет стоит. Ну, а потом только твердила:

— Этой гадости я поверить не могу. Если бы я могла этому поверить, я бы ее убила!

Ну и глупо, ведь сразу поняла, что правда, но ей словесный ритуал нужен. А с другой стороны, ей можно посочувствовать: во дворе у нас я пользовалась репутацией самой скромной девочки. Никогда не подпирала с мальчиками ворота, рано возвращалась домой. Я умно себя вела. Взрослые ведь как дети. Это они нас считают детьми, а если разобраться, то все наоборот. Мама, между прочим, кричала Толе:

— Я ее никуда не пускала после одиннадцати!

На что он вполне резонно:

— Вы думаете, это нельзя делать днем?

Но он-то вел себя еще глупей мамы. Не рассказывают родителям такие вещи: есть же какой-то барьер между ними и нами. Я бы с ним так не обошлась.

Как только он ушел — мама ко мне на работу. Прибежала, залпом все выпалила, кричит:

— Немедленно отвечай, правда это или нет?!

Соврать можно было из одного только страха, зная умение моей мамочки скандалить. Самое смешное: именно этого — то есть, чтобы я соврала, — она и хотела. Иначе — зачем спрашивать? Но если бы я соврала, она тут же поверила бы мне, — по крайней мере, внешне. Но тут же обрушила бы на Толю тирады чепухи. Но все осталось бы прилично, пристойно, как у людей. И жила бы я себе спокойно.

Но я не стала врать: противно и слишком уж глупо. Просто — глупо.

— Чего меня спрашивать, — говорю. — Ты с ним вела милую беседу, его и спрашивай. — Молчит, вижу, краснеет. — Можешь верить, — говорю, — можешь нет — твое дело.

Тут она выдала спектакль.

— Моя дочь проститутка! Кто тебя воспитал так! Я тебя воспитала так, бандитка ты?

И вот тут-то я опять испытала обычное свое чувство к матери. Отвращение. Какой-то у нее был противный вид. Ну зачем кричать о том, что случилось два года назад и чего все равно не изменить?

— Не проститутка, — говорю, — а честная давалка.

Тут она как влепит оплеуху. А мне как раз на склад идти, материал выдавать. Стыдно со вспухшей щекой. Но я и сейчас не заплакала.

— Ну что ж, — говорит она со злорадством. — Теперь ты можешь идти к своему дорогому муженьку.

Она была настолько уверена, что получила надо мной власть, что позволила себе такую фразу. И то сказать, куда же мне еще? Два полюса — он и она, вот и выбирай. И каждый уверен, что пойду именно к нему.

Ночевала у подружки. На следующее утро шла на работу, все время озираясь, знала, что встречу ее. Так и есть, смотрю, стоит на углу, растрепанная, зеленая, даже жалко на секунду стало.

— Где ты была? — трагическим шепотом.

Хорошо еще, я вовремя сообразила забежать в подъезд — люди на работу идут. Она, разумеется, за мной. Все так же, охрипшим трагическим шепотом:

— Где ты была? Я все больницы обегала, ночь не спала...

Она, видите ли, из-за меня не спала, — сколько здоровья потеряла, ах, ах! Что же все-таки важнее: что ты бегала по больницам и волновалась или что не спала ночь?

— Бандитка, убить меня хочешь, где ты шлялась, проститутка?! — вдруг как заорет, и все в волосы норовит вцепиться.

(И ни по каким больницам не бегала вовсе.)

Я вырвалась, убежала на верхнюю площадку, кричу оттуда:

— А твое какое дело, где была?

— Как какое? Ты мне дочь или пустое место? Ты выродок, я знаю, но ты дочь мне, ты моя дочь!

— Я не твоя, убирайся к черту, оставь меня в покое!

Пауза, как в драматическом театре. Молчит, смотрит вверх на меня — не играет, не может не разыгрывать представления. Потом величественное движение рукой:

— Чтобы ноги твоей больше в моем доме не было! Действительно, ты мне не дочь! Знать тебя не хочу, не смей ко мне являться!

И ушла. Думаете, правду сказала? Если бы! Просто так, слова. Я в этом ни на секунду не сомневалась и оказалась права. На следующий день является:

— Что ты себе думаешь?

И в слезы. Плачет, скандалит, опять плачет. Все у нее в жизни не так получается. Сначала отец ушел, теперь я. Хуже нет, когда получается не так, как человек представляет. А почему? Только по глупости! Вот у меня так не будет, я умнее, я другой человек. А если до сих пор по-моему тоже не получалось, то только из-за того, что такие вот, как моя мамочка, не хотят понять, как люди должны жить. Какая все-таки обида, подумайте! Знаешь, что уж ты-то права, и ты-то умеешь жить по-умному, и только из-за глупых людей...

Она приходила еще несколько раз. Но только когда увидела, что я помирилась с Толей, — перестала.

А мне — куда деваться? То есть, Толя все-таки не мама: две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. А последний раз мы с ней виделись, когда я ездила забирать свои зимние вещи.

Прихожу.

— Здравствуй, — говорю.

Не отвечает.

— Могу я свои вещи забрать?

— Здесь нет твоих вещей.

Вот те на. Начинается.

— Почему же нет? А пальто, а шерстяной свитер коричневый, а мои нейлоновые кофточки, что купила в прошлом году у Катки-барахольщицы?

— Какие кофточки, не знаю никаких кофточек. Вот если бы поменьше покупала, было бы лучше. И вообще, пусть тебе теперь муж покупает!

Подбегает к шкафу, демонстративно заслоняет его телом, как Александр Матросов амбразуру. Будто я действительно хочу силой вломиться. Я-то знаю, что это не серьезно, что она вовсе и не думает отбирать вещи. Но ведь она хочет худшего: хочет меня унижить, чтобы просила, на колени встала перед ней. И это меня больше всего выводит из себя. Я знаю, что не буду просить.

Слово за слово, начался скандал. Квартира на первом этаже, окна выходят во двор. Я как глянула в окно, в глазах потемнело: домком такого кворума не собирает. А мамочка уже успела выложить все, о чем знала и о чем догадывалась. Тут еще эта кретинка вмешалась, Ольга Семеновна, соседка. Под дверь подслушивала, небось, селедка сухая, в три погубели согнувшись. Когда я все-таки начала собирать вещи, она решила, что настал ее черед вмешаться, помочь дорогой соседке, с которой друг другу двадцать лет уже кости перемывают. Удивительное дело: между ними больше общего, чем между мной и мамой. Хотя и домком их уже разбирал, и до народного суда чуть дело не дошло. Именно в этой кретинской страсти к скандалам, к эмоциям, так называемым. Ворвалась в комнату, схватила одеяло, вырывает у меня. Вот картина: я тяну за один конец, она за другой, а мама сидит на стуле и плачет. Тут я совсем разозлилась, оттолкнула эту старую клячу — легонько так, — а она отлетела (ей-Богу, нарочно!) и об шкаф ударилась. Вот в этом-то и весь секрет. Конечно, она ударилась не нарочно, ведь эти старые маразматички больше всего на свете боятся ушибиться, не дай Бог, сломать свои никому не нужные кости. Но она чуть-чуть переборщила, переиграла — и вот результат. А если есть результат, то кого обвинять: себя ли? Как же... Теперь-то появляется благословенный повод заорать во все горло.

— Хулиганка! — вопит. — Ты уже кулаки в ход пускаешь? Я старая учительница, у меня грамоты от наробраза, меня к заслуженному учителю представляют, а ты вот как позволяешь себе!.. Подожди, я пойду к тебе на работу, я в твой техникум пойду! Я всем глаза раскрою! Я давно о тебе предупреждала, еще когда ты в школе училась, ты мне не нравишься! Уж у меня есть опыт работы!

— Иди куда хочешь, — говорю так тихо. — А сейчас убирайся, старая блядь. Слышишь?

Она вытаращила глаза, вижу — с места двинуться не может. Ах, бедная, простого слова не слышала. Деликатная натура, почти заслуженная учительница. Вот доносить учить — тут она действительно мастер. Это можно и даже нужно —

еще бы, деточка, ведь ты пионерка, ты должна быть сознательной, должна понимать, что Икс-Игрек поступил антиобщественно, ведь плохо поступил, правда? Почему же тогда не хочешь смело признаться, сказать, что такой-то выбил стекло, написал хамское слово на доске, подбил класс осветить военрука, ведь ты уже не маленькая, комсомолка, должна понимать, с чего начинается падение, наша обязанность следить за моральным уровнем советского человека, а твоё молчание, это — не храбрость, это — трусость, он сегодня написал стихи, высмеивающие нас, учителей, а завтра — о ком напишет? Ты можешь представить? Ты ведь комсомолка, пионерка, октябрист, ты должна понимать...

— Пусть она уйдет, — говорю я маме. — а то я за себя не ручаюсь.

А когда она убралась, спрашиваю:

— Ну что? Ты этого хотела добиться? Ты хотела добиться, чтобы весь двор показывал на нас пальцами? Пожалуйста, ты добилась.

А мама смотрит на меня во все глаза и только повторяет — что бы вы думали?

— Боже, где ты научилась таким словам? Боже, где ты научилась такой гадости?

Ну, можно ли выдержать подобное?

— При чем тут слова? Этим словам можно везде выучиться, ты не слыхала их никогда, что ли? Чем пустыми разговорами заниматься, подумала бы лучше о том, что я теперь, если бы и захотела, к тебе не приду: очень нужно видеть эти ухмыляющиеся тупые рожи.

— И это моя дочь!

Смотрит на меня, как будто не узнает.

— Дочь, которую я вырастила! Вырастила на свою голову! Тебя нужно было еще в утробе матери задушить, негодяйка ты эдакая! Сколько сил на тебя потрачено, и вот благодарность!

Ничего она так и не поняла.

— Благодарность? Благодарность за что?

— Как за что? Я не отдала тебе всю жизнь?

— Отдала... да, отдала, а лучше бы не отдавала. Все, что ты делала, ты делала для своего удовольствия.

— Что-о-о?? Когда ты заболела скарлатиной и просила не отходить от тебя, я четыре дня сидела, держала твою ручку, которая теперь могла бы отсохнуть, — значит, это я делала только для себя, для своего удовольствия?

— Да, ты делала это для себя. Ты делала, потому что мать и потому что хотела это делать.

— А когда нужно было платить профессору Скроцкому десятку за десяткой, и я продала мою шубу, — а можно было бы обойтись врачом из поликлиники, многие так делают, и ничего. Гоим все только так и поступают — чтобы они продавали каракулевую шубу? — да они только расхохотались бы надо мной. Я тоже это делала для удовольствия? Большое удовольствие остаться без каракулевой шубы, я тебя спрашиваю?

— Не знаю, может быть, и удовольствие. Это было твое дело, твой выбор. Может, было бы лучше, если бы ты этого не делала и потом не тыкала мне свой доблестный поступок. Всю жизнь ты только это и делаешь.

— А когда я каждое утро, как каторжная, бегаю на Привоз, чтобы купить свеженькое и вкусенькое для моей доченьки дорогой, кручу себе голову, как достать то, достать это, а когда появляются бычки, ни с чем не считаюсь, покупаю связку самых крупных, с икрой, потому что это золотко любит, видите ли, жареных бычков — и все это для собственного удовольствия, спрашиваю я тебя, выродок ты, а не человек?

— Да! Да! Да! Для себя, только для себя, тысячу раз для себя!

— Но почему, почему, почему? Я сейчас получу разрыв сердца, но я хочу знать, почему?

— Потому что ты все это делала, потому что хотела делать, потому что инстинкт твой это делал.

— Ну хорошо, пусть инстинкт, но ведь делала, так неужели не заслужила хоть каплю благодарности?

— Нет, не заслужила.

— И если я тебе давала советы, как жить, как я понимаю, то это были плохие советы? Почему мама, которая готова тебе душу отдать, будет тебе советовать плохое? Но я тебе не советовала развратничать, не советовала грязно ругаться. О, моя голова, она сейчас лопнет. У меня сейчас давление, наверное, двести пятьдесят, но все равно, я хочу знать, хочу понять!

— Ты всегда хотела сделать из меня куклу, а я не кукла, я живой человек. Ты считалась только с собой, а думала, что поступаешь, как героиня. Все люди в жизни поступают точно так же, как и ты, но некоторые, по крайней мере, не делают из себя героев. Все люди во всем мире делают все только ради своего удовольствия, но некоторые осознают это, а другие — нет.

— Значит, отдавать душу единственной дочери и развратничать — и то и другое удовольствие?

— Да, да, да, да! И то и другое удовольствие, и то и другое — одно и то же!

Сейчас зима. Уже два месяца, как помирилась с Толей. Живу. Он вообще ничего парень. По хозяйству поможет, когда есть настроение, даже обед сварит. Чаще всего именно тогда, когда я и сама могла сварить. А вот если нужно помочь, а желания нет — в ход пойдут любые доводы.

— Я говорил утром еще, что нет хлеба. Не можешь запомнить самые простые вещи. Сама теперь иди.

— Ну, молодец, говорил. А я забыла. Так что ж? Не можешь пойти купить хлеб, рыцарь?

— Ну ладно, рыцарь, не рыцарь, не пойду, и все. А насчет рыцарей ты, конечно, знаешь больше меня. Ты еще мне должна порассказать про рыцарей!

Это он опять про то же. Да, все про то же... Что мне делать? Да ведь, если говорить честно, и здесь тоже ничего не вышло. Не выходит жизнь. Да ведь он знал же, что не на девочке женится, сам же со мной спал, вроде, тогда никаких моральных проблем не возникало. Но не в этом дело, конечно. То есть, не в том, что я до него с кем-то была в связи, и не в том даже,

что он узнал про мои старые дела (вряд ли он что-нибудь знает). Нет, тут другое. Если бы я была девочкой "ох!" да "ах!", и он бы почувствовал, что меня, как дурочку, кто-то обманул, или даже, что просто роман был юношеский, — тогда бы он совсем иначе реагировал, я думаю. Но он знает, что я другая, — и он прав.

А ведь я ему даже и не изменяла. Хотя могла же. Встретила как-то на улице одного из старых приятелей. Он говорит:

— Ты, слышал, замуж вышла. Приходи, надо это событие отметить.

— Спасибо, — говорю. — Времени как-то нет...

Толя же начал с моих подруг.

— Нора, — говорит, — мне на нервы действует. Ведет себя так, между нами, как будто я вовсе и не муж ее самой близкой подруги.

Я, помню, удивилась. Нора — такая тихая, наивная корова, что-то не похоже. Хотя, мало ли что.

Потом перешел на других девочек. Тома ему не нравится тем, Лера — этим. Получалось, будто каждая из них только и ищет, кому бы отдаться. А ведь это девочки скромные, школьные подружки. Ха, ха, гуляла-то я в других компаниях.

— Твои подружки на тебя плохо влияют, — говорит он. — Я в этом убежден. Я должен оградить тебя от влияния подруг.

— Ты шутишь или серьезно?

Но вижу, не шутит.

— Не хочу видеть твоих подруг, ты должна стать другой.

— Какой-такой — другой?

— Вот так, другой. Не делай вид, будто не понимаешь! Идем с ним по улице. Я здороваюсь.

— Кто это такой?

— Успокойся. Ты совсем с ума сошел. Это приятель покойного отца.

— Да, знаю я приятелей таких. Посмотри, какое у него лицо.

— Какое же?

— Развратное.

Если бы умно ревновал, если бы хоть раз попал в точку. Или начинает вдруг расспрашивать, почему я не дорожила "девичьей честью". Философ нашелся. Сначала, как полагаются, я врала насчет первой любви. Но он чувствовал, что вру, все приставал. Тогда я разозлилась.

— Очень просто, — говорю. — Мне приятно было нравиться. Он вылупил глаза:

— Как это?

— Женщине приятно нравиться. Понятно? А чтобы нравиться, надо что-то делать. Мужчине — наступать, женщине — отступать.

— Ты где это начиталась.

— Начиталась, не начиталась, а — правда. Школьнику надо уступить — пойти с ним в кино или потанцевать в компании. Кто постарше — с тем уже надо целоваться. А настоящим мужчинам — поцелуев мало.

— Ах ты, развратница!

И он то же слово. Как сговорились! Одна меня родила, чтобы воспитывать, другой женился для этого.

— Тебя плохо воспитали, — говорит Толя. — Вот в чем твое несчастье.

Ах, если бы мама его слышала! То-то была бы потеха. Но мне не до смеха. Если подумать, в самом деле, — сколько неприятностей я причинила этим людям. Может быть, глупа я, а не они? Они переживают, мучаются, а я...

— Ты не могла постирать мою нейлоновую рубашку? — спрашивает Толя. — Ведь я просил.

Просить-то он просил, только зачем сразу раздражаться? Но он в последнее время — чуть что, сразу кидается. Как будто какая-то пружина в нем сорвалась. А ведь был спокойный парень. Потому-то и понравился мне. Неужели же из-за меня? Тогда, действительно, меня, как говорит мамочка дорогая, мало было еще в утробе задушить? Честное слово, я в последнее время так думаю, и чем дальше, тем больше. Поглупела я, что ли?

...Но вот ведь как все начиналось... То есть, я хотела сказать, как бы теперь было, если бы с самого начала... Вышла вот только что из кино, и такая мысль — неужели же только там настоящая жизнь? Французский фильм смотрела, и мне захотелось обратно на экран... Я сказала обратно? Но это правда, потому что все мое так называемое прошлое и происходило на экране, а только потом я спустилась в жизнь. Думаете, вру? Ничего подобного! Я сейчас объясню, только сначала тот вопрос, который бы следовало задать действительно: зачем спустилась? Вот это вопрос, на который ответить не то, чтобы не могу, скорей уж боюсь. Но во всяком случае, раньше было в моей жизни все, как в кино, и не то, чтобы красиво... нет, именно красиво!

Это началось, может быть, когда меня пригласила Дина Танская, а может быть, и нет. Ну, а даже, если бы Дина не пригласила меня? Все равно, так или иначе, это должно было со мной случиться, так или иначе, я была готова, а если ты готов к чему-нибудь, это с тобой рано или поздно происходит. Ну, не Дина, так кто-нибудь другой. Ведь вот Дина чем была хороша: помню, ее выгнали из консерватории по "персональному делу", она стояла с какой-то своей подругой на углу Толстого и Нежинской, как раз возле нашего дома — стояла, время от времени откидывая назад волосы эдаким движением, в этом движении она была вся, и я обалдевала только от этого одного ее жеста, рассказывала, как ее вызвали куда-то, кажется, в деканат или комитет комсомола, с возмущением заявили:

— Вы знаете, что говорит Владимиров? Он говорит, что жил с вами, потому что вы ему нравились в каком-то одном смысле, а с Вайнберг — потому что она нравилась ему иначе. И он совсем не испытывает угрызений совести!

И Дина, пожимая плечами и улыбаясь, говорила подруге:

— Ну и что, что Вовке нравилось жить со мной и с Лилькой? Я против Лильки ничего не имею. А эта грязная сволочь Захаров (видимо, декан или секретарь комитета комсомола) — он Вовку может только в задницу поцеловать. Думаешь, он сегодня не прыгнул бы ко мне в постель? Вечно провожает сальным взглядом. Ох, жизнь.

Так вот, ну конечно же, когда Дина остановила меня на улице и стала расспрашивать о том о сем, а потом позвала к себе в гости, я обалдела. У нее был рассеянный взгляд и рассеянная улыбка, и она откидывала волосы назад, вскидывая голову, а потом вдруг подмигнула мне, эдак прищурившись:

— Только сама понимаешь, надо умно все делать, заходи часов в шесть, маме скажи, пошла в кино. Большая уже, правда? Тут тебя один знакомый видел, режиссер из Москвы. Ты ему нравишься, поздравляю.

— Не волнуйтесь, Дина!

Еще бы, я скажу маме, что пошла к Танской! Можно предположить, что будет! "К той самой Танской, что, говорят, устраивает оргии и танцует голая на столе!? Ку-уда??"

Но я была польщена, я была взволнована. Это — блеск? Я представляла себе, как все будет дальше, и так все и произошло.

Или взять Макса, того самого, о котором говорила Дина. Как только я увидела его круглую морду, усы, услышала его "хи-хи", которое он внезапно вставлял в любую фразу и этим разрушал все начисто, всю серьезность — ах, прелесть Макс! Ведь вот послушайте, как он говорил:

— А-а! Вот эта девчулька пришла! Динка — ты молодец. Я думал, арапа заправляешь. Я ее фото видел в вашей фотографии, что на Дерибасовской, "образцовая", кажется, называется, во, во, "образцовая" хи-хи-хи! — ну и город, ну, что вы, что вы, я шучу, превосходный город, экстраклассная фотография, и если они сообразили такую девчушку так снять!

Ну вот, как вы думаете, что он имел в виду: хорошо меня сняли или плохо? Да ведь для меня это черт знает что было, — что моя фотография висит на Дерибасовской угол Карла Маркса. Я была уверена, что это замечательная фотография. Но когда Макс обсмеял ее, я ничуть не обиделась, потому что то, как он это делал, стоило всех фотографий.

Или вот как говорил об Одессе:

— Я уж думал, что в Одессе совсем нет девочек.

— Ну что вы! У нас нет девочек?

— Вот эти еврейские коровы — это девочки? Слишком много тела. Они годятся только, чтобы их фотографировали на фоне вашего знаменитого оперного театра, который давно объявлен седьмым чудом света. (Между прочим, когда он заговорил о коровах, я думала Дина обидится. Но в том-то и дело, что — ничуть), — Значит, и во мне слишком много тела? — только спросила она Макса, а он ей: — Ну что ты, таких женщин я просто боюсь. — Когда-то не боялся, — только и заметила меланхолично Дина.

А взять остальных ребят, что сидели у Дины. Валька Старицкий, тот самый знаменитый Валька Псих, который иногда проходил по Дерibasовской — да, Дерibasовская уже не так интересовала его, — что ему Дерibasовская — а знаете, почему его прозвали Психом? Вот и я не знаю, по сегодняшней день не знаю, хотя были мы с ним какое-то время друзьями. Но когда я его спросила однажды, он притворился, будто не помнит. Он был очень недоволен моим вопросом, я допустила бестактность. Говорят, что он устроил в "Красной" дебош, схватил стул, стал бить подряд все, что стояло на столиках, — и все из-за какой-то малости. Ничего в этом страшного не было, почему он не хотел мне сказать? Я знаю, в чем дело, и знаю, что он был прав. Я нарушила стиль. Но, впрочем, об этом чуть позже, а сейчас — думаете, только один Валька Старицкий там был? У окна, в кресле, небрежно развалился Вадик Розенблат, ни дать ни взять английский джентльмен с трубкой в зубах. Более элегантного мужчины я в жизни не встречала и не встречу. "Девочки, видели, видели? Вот он пошел, да нет же, смотри туда, да, да, этот видишь? Он с Высоцкой из оперетты, поняла? Ой, слушайте, говорят, он страшный подонок, и отец уже не дает ему денег, папа его ведь тот самый доктор Розенблат, и он уже и так и сяк, Вадик, говорит, иди учиться, не хочешь? Ладно, но тогда хоть что-нибудь делай, найди себе хоть какую-нибудь работу, или я тебе найду, у меня ведь столько связей... но Вадик ни в какую!"

Но я заговорила о стиле, который нарушила тогда с Валькой. Как бы это объяснить... Здесь все было как будто

наоборот (помните, я говорила о кино, но разве в кино не происходит все наоборот по сравнению с жизнью?). Так вот, когда я пришла к Дине, зашел разговор о Москве. Дина еще вздохнула, мол, конечно, у нас провинция, кто же спорит, — а потом сказала Макс, что собирается весной в Москву, и не поможет ли он ей с гостиницей. Макс обещал ей все устроить, потому что как раз недавно они делали ленту о Москве и москвичах, такой блеск получился, и, кстати, бабу-администраторшу он закадрил, — нет, нет, совсем в другом смысле, просто верный друг и прочее, золотой души баба, в общем, все будет в порядке... Потом я уже слышала другую версию; Макс, уж очень хотелось показать мне кое-какие свои достоинства, и он рассказывал, как они с одним грузином кадрили девочек возле телеграфа в прошлом году, и грузин был виртуоз (он-то и познакомил Макса с администраторшей), а виртуозность грузина заключалась в том, что он никогда не давал маху, один раз подцепил двух близняшек-школьниц, целок, и Макс говорил ему, что это пустой номер, но грузин сумел-таки повернуть с ними, обеими сразу, — это уж была фантастика, Макс был поражен, а грузин, оказывается, взял вот чем: он сказал девочкам, что это последний парижский способ, его друг Муртаз Хурцилава только что привез!

— Но грузин все-таки не каждую бабу мог закадрить, — сказал Макс значительно, — и знаешь, какие бабы ему не нравились, — те как раз, что шли со мной. Интеллигентную девчушку он нипочем не мог сфаловать, понимаешь? А мне это как раз было нипочем. Вот в чем штука. — Тут же, впрочем, Макс почувствовал, что чуть переборщил с серьезностью, хихикнул, ущипнул меня за подбородок, сказал, что мне еще рано такие истории слушать, а с Сосо он меня все равно не знакомит и так далее и тому подобное, он знал, что стиль заключается в том, чтобы вовсе не говорить серьезно о серьезных вещах, таких, например, как отношение к самому себе, — а напротив, говорить серьезно о том, о чем обычно говорят несерьезно. И я с самого начала прекрасно поняла и Макса, и Дину, и Вальку, и Вадика, точно так же, как они сразу поняли меня. Я понимала, в чем тут дело. Ну и что с того, что Макс

вовсе не кинорежиссер, а Валька отнюдь даже и не администратор какой-то эстрадной группы? Игру, которая здесь велась, я приняла сразу, хотя сама никакой роли себе не брала. У каждого свои слабости. Во всяком случае, для меня не имело никакого значения, что все эти люди совершенно не понятны другим людям, таким, например, как моя мама. По-моему, именно они-то как раз и были настоящими режиссерами, художниками, администраторами или еще кем-то, кем им было угодно представляться, и кем они хотели выглядеть.

Они были большими режиссерами, чем режиссеры, которые работают на студиях, и большими писателями, чем писатели, которые пишут книги. Все было, как в кино и книгах, они жизнь превращали в искусство, что же еще? Как можно было не полюбить их? Вот когда мы с Максом пошли в первый раз к нему в гостиницу, то дело было совсем не в том, чтобы в постель лечь, но в том, что это было от начала и до конца против всех жизненных правил, и когда мы шли лениво по солнечным улицам, а мимо нас проходили, пробежали куда-то люди — ну да, по делам, на работу, домой к семье, то есть, все как следует, все по правилам, а если иногда и не по правилам, так ведь только иногда, — а мы шли сквозь них, перебрасываясь шуточками, и никто и не подозревал, что мы все переворачиваем, что у нас все наоборот! И в гостиницу ведь тоже нельзя было идти, не говоря уже о том, что — ах, вот так просто отдаться первому встречному, а как же любовь? А как же девичье целомудрие? Да, да, в гостиницу попробуй, проведи девочку! Но Макс — это был Макс, и его шутки, его смешок, его комплименты старой карге-администраторше, его неторопливый — как бы между прочим — рассказ о девчужке-племяннице, которую, представьте себе, он только сегодня обнаружил здесь, в прекрасной удивительной Одессе, где только и должны совершаться чудеса! — но главное именно в том, что все как бы между прочим, легко, потому что, если не получится — так что же, вешаться? топиться? нервы портить? Подумаешь, не сегодня, так завтра, а если и не выйдет вообще, тоже не смертельно — мало ли девочек, мало

ли мальчиков — жизнь бесконечна и полна прекрасного будущего... Жизнь удивительна!.. Вот чего не могут понять люди. И уж, конечно, Макс не стал бы устраивать истерик из-за того, что твоя жена сделала аборт, не стал бы скандалить, если вдруг — подумайте, какой ужас! — вы узнали такое о своей дочке!..

"Но почему это я вдруг — в прошедшем времени — не стал бы?" Да, да, вот этот момент — мы стоим в маленьком холле "Пассажа", и Макс убалтывает администраторшу, а я гляжу на себя в зеркало и улыбаюсь, сама не знаю чему, и вижу все в зеркале, и все так и застывает в моей памяти навсегда, — самый лучший момент в жизни: еще ничего нет, все в предвкушении, но ничего может и не быть, ну что ж, это все равно, не сегодня, так завтра... да, завтра... И я вспоминаю мою маму, ее крик, плач:

— Такая была девочка, как куколка, все люди на улице останавливались, спрашивали: "Кто тебе подарил такие глаза, детка? А кто приклеил такие ресницы? Не приклеенные ресницы? Не может быть! И косы твои собственные?", и было счастьем пройтись с ней по улице, я ей заплетала косы с лентами, каких только лент у нас не было, а потом в один прекрасный день является без волос — обрезала такую красоту! — у меня в глазах потемнело, — а ведь когда была маленькой, все смеялась, и косы раскачивались в такт... Люди, скажите, почему все меняется, люди, скажите, куда все уходит, разве не могла она остаться, какой была в детстве?

И я сейчас тоже едва ли не кричу: куда все уходит? Сейчас я вовсе не улыбаюсь — люди, неужели я превращаюсь в подобие матери? — но все равно, не могу удержаться, ну, не смех ли? или смех и слезы? — и вот я уже как будто протягиваю руки, а ведь сколько держалась, а потом — все равно, один только вопрос: куда все уходит, девается, где Дина, где Макс, где Валя, где наша жизнь? Время, как ветер, раскидало всех и все, оказывается, оно мягко стелет, да жестко сплет. Это только говорят, что время лечит раны, наоборот, наоборот... А ведь все как будто есть, и в то же время никого уже нет.

Дина вышла замуж за какого-то юриста, уехала с ним на Север, Вадика посадили за изнасилование, какая-то дурочка отомстила ему, Макс давно уже не приезжает... Вру, вру, как-то встретила его на улице — и что же: как будто тот самый человек, и все-таки не тот, совсем не тот. Мчался куда-то еще с одним, бровастым, в джинсовом костюме.

— Ну как, девочка? — только спросил меня. — Ого, выросла, выросла, похорошела. (Ну это-то был старый Макс, и это я могла бы перенести: мало ли что, ему не охота со мной сейчас, это в нашем стиле). — Спешу, спешу, Танечка, мы здесь с группой, познакомься, Николай Петрович Савельев, слыхала? нет? гениальный человек! Тут такой фильм заворачивается, Николай — главный режиссер, ты, знаешь что, запиши наш телефончик... Та-ак... Замуж еще не вышла? Нет? Пора, пора, учись у Дины, башковитая баба... Валю Старицкого не встречаешь? Он все так и изображает из себя администратора? Кстати, знаешь, ведь он чем жил — сдавал квартиру под игорный дом, там у него всякая шушера собиралась... Ну ладно, бывай. Звони, если что...

И умчался. Но ведь на этот раз он не врал, действительно приехал с группой, пристроился помрежем или еще кем, да ведь это не важно, кем именно... Я все стояла и смотрела. Валя Старицкий... Ха, ха, если бы Макс знал, что Валя недавно говорил мне примерно то же самое о нем, Макс. Толстый такой стал, этот Старицкий. Женился на какой-то такой же огромной бабе, как и он, и ребенок у них. — Ну что ты, Танечка, — говорит. — Я завязал. Да ведь я больше бардачил по пьянке, а теперь не пью. А если не пью, то зачем бардачить? Жинка у меня — прекрасный человек, деловая такая, знаешь... (Я-то знаю. Его жена спекулирует заграничными шмутками, работает в комиссионке. Энергичная бабеха.) — Ну чего ты уставилась на меня так, — говорит Валька. — Давно не видела, что ли? Ты странная девочка. Ты хорошая девочка, но, видимо, жизни не понимаешь... Хочешь, я тебе дам совет? Найди хорошего парня, выйди замуж. Конечно, теперь трудно найти человека, я знаю, ох... — и пошел чесать, почти как моя мама.

Но все-таки была разница. Мимо нас проходил дядя Ваня, городской сумасшедший. У него всегда были с ребятами особенные отношения, они как будто понимали друг друга. То есть, ребята давали ему время от времени деньги, а он выделял их из остальных людей, узнавал, подмигивал, ухмылялся. И вот сейчас он тоже подмигнул Вале, снял кепку — ту самую, замызганную, засаленную, знаменитую его кепку, стал паясничать, гримасничать, "Наше — вам!.."

— Ладно, ладно, давай, Ваня, — пробормотал Валя, но все-таки дал дяде Ване рубль.

— Благодарю вас, господин генерал! Хотите, я вам почитаю что-нибудь из Тютчева? Обычно я читаю Маяковского, но, между нами-девочками, Володьку я презираю, просто на него спрос у ничтожного люда. Маяковский! О-о, Маяковский! Граждане, прошу минутку внимания, краткий экскурс в историю так называемой советской литературы! Год двадцать шестой, время великих побед и...

И завелся, и пошел чесать что-то про Маяковского и Есенина, он был когда-то журналистом, говорят...

— Все-таки даешь ему? — спросила я Валю.

— Что значит все-таки? Я всегда даю, — сухо заметил Валя Псих. — Банщику я всегда даю, официанту и нищему.

И опять — как тогда, с кличкой, он возвысился надо мной. Он показал мне, что я совсем еще ничто, — поделом мне. И это даже теперь, когда он так изменился!

— Ну, мне сюда, — сказал он. Мы проходили мимо дома, в подвале которого разместилась одна из "художественных бригад". Знаете, артели, которые делают всякие вывески, рекламы наподобие "Звонок исключительно к доктору Вайнтруб" или "Мы производим вывоз вещей с квартиры на квартиру, с дачи и на дачу", — жива еще Одесса!

— Я здесь работаю, — сказал важно Валя. — Кстати, неплохо зарабатываю. Они держатся за меня двумя руками, я ведь всегда хорошо рисовал. А кроме того, тут вкус нужен, я им показываю, как надо делать. Это же неучи, если бы не я, в этом месяце они бы совсем запарились с работой. У меня ведь всегда был вкус. Эта работа требует выдумки.

И исчез в подвале. Эх... Впрочем, что ж, говорю вам, это только с одной стороны выглядит жалко. Что-то осталось, и это тоже многого стоит.

Вот в том-то и дело, что в нас что-то осталось, во всех. Ведь вот, когда Макс убежал поспешно с бровастым по Пушкинской, а я стояла и смотрела ему вслед, он ведь обернулся, посмотрел на меня. Один раз только обернулся. Я не разглядела, махнул ли он мне рукой, но ведь мог просто улыбнуться, подмигнуть — вот так же, как когда-то подмигнула Дина, — а далеко было, мне не разглядеть.

Кто знает, может быть, и оглянулся...

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*



Евгений ЦВЕТКОВ

ПАУК-ТЕЛЕПАТ

Солнышко. Куры за окном раскудахтались. По стене ползет паук-косиножка. Тонкими длинными ножками скребет невидимые трещинки и бугорки. Луч застыл в пыли. Пыль светится, пылинки плавают, мелькают...

Иван Федорович глядел прямо перед собой, медленно, с трудом просыпаясь. Обрывки сновидений еще неслись перед глазами и гасли. "Ба! — он резко поднялся. — Вот ерунда какая. Опять проспал".

Паучок стремительно метнулся наискось по стене и замер. Круглое, с фасеточками глаз тельце присело на гибких ножках. Бац! И темным комочком спутанной паутины свалился ловкий, многоногий пришелец. Пылинки заметались в очечневшем белом столбе. Вздохнул Иван Федорович, потянулся и зевнул. Куры дробно выстукивали кому-то телеграфную морзянку, заканчивая каждую фразу надсадным криком... "Когда же ты, Иван Федорович, наконец, отоспишься?" — сказал себе ласково Иван Федорович и спрыгнул с низкой кровати на дощатый пол. Вот уже неделю он здесь, у ласкового моря, в маленьком сарайчике, дышал и наливался здоровьем.

И никак не удавалось Ивану Федоровичу подняться пораньше, до солнца и погулять по голому, пустынному пляжу и встретить это самое солнышко. Дело пустяковое, но ему оно казалось до чрезвычайности важным, и каждое утро, просыпаясь, он огорчался, видя солнечный луч в пыльном столбе. "Опять проспал! Вот незадача — говорил себе Иван Федорович. Теперь можно на пляж и не идти. Набьются так, что плюнуть негде не то, что сесть". Его нервы фронтовика не выдерживали атмосферы жарких потных, разомлевших под солнцем тел. Потому на пляж он почти не ходил, а предпочитал прогуляться по окрестностям, где, конечно, не так было хорошо и море виднелось лишь вдалеке. Зато одиночество и покой окружали его, и это было главным. Старая контузия, да и нервотрепки мирных дней как-то незаметно подточили Ивана Федоровича. И вот пришлось все бросить и отправиться в этот тихий курортный городок. Он снял дощатый сарайчик за рубль в сутки и стал вести растительную жизнь...

"Нет, — твердо сказал себе Иван Федорович, — завтра я непременно встану и надышусь, налюбуюсь водичкой, пока эти все не слетелись на берег. Как мухи, чистые мухи, вялые, от жары... Его даже передернуло от такой мысли. Как же им самим не противно сидеть спиной к спине, прикасаться к чужим ногам... Человеку простор нужен." Иван Федорович вытащил папиросу, размял ее, закурил неторопливо и вышел во дворик...

— Как спалось, Иван Федорович, — пропела полногрудая хозяйка и сладко ему улыбнулась.

Иван Федорович смутился, откашлялся, промычал невнятно, что мол хорошо выспался. Хозяйка была вдовая, и чем-то сильно ей Иван Федорович пришелся...

— А наши все давно на пляжу... — она выплеснула помой и прошла мимо него на летнюю кухню. Белые груди колыхнулись и проплыли мимо...

— Никак не могу пораньше встать, — Иван Федорович проводил глазами это великолепие, — может, разбудите меня завтра пораньше? Часиков в пять-шесть хорошо бы...

Она кокетливо улыбнулась, задышала: "Да лучше поспите, сил набирайтесь. А то мужик нынче совсем слабый пошел"...

— Ммда, — сказал Иван Федорович, — оно конечно. Как там насчет чайку?

— Кипит давно, вас ждет.

— "Хорошая баба, — подумал Иван Федорович, — хорошая". И от этой мысли в который раз за эту неделю закручинился.

— Да разбужу, разбужу, — она ловко вытерла блюдце, потом чашку, поставила на стол. — Садитесь, попейте. Бросьте вы эту соску с утра. Опять кашлять будете. Вчера всю ночь кашляли, — и, наливая чаю, добавила, вздохнув. — С радостью разбужу, во сколько хотите...

Хозяйка слово сдержала. Разбудила чуть свет. Иван Федорович ополоснул лицо и, быстро собравшись, вышел на пустыные улочки. Пошел к морю. В светлеющем небе гасли звездочки. Луна бледнела. А на востоке горел розовым новый день. Пустынный пляж растянулся перед ним. С наслаждением вздохнул Иван Федорович душистый, не успевший остыть за ночь воздух. Ровным темным стеклом застыла гладь воды. Ни души. Неторопливо он пошел вдоль берега, обходя кабинки, валявшиеся обломки неизвестно чего...

Вот повернул Иван Федорович за большую скалу, что отгораживала одну часть бухты от другой и тут же увидел. Господи! Он остановился с замирающим сердцем. На песке, запрокинув голову, сладко изнемогая, раскинулась женщина. Прильнув к ее красивой чуть тяжеловатой груди, отчетливо белевшей на фоне загорелого тела, сидело членистоногое, в жестком темном панцире создание. Паук! Увеличенный до размеров большой собаки. Женщина жарко дышала, стонала в истоме.

В то же мгновение Иван Федорович почувствовал, что и чудище его заметило. Попятился Иван Федорович. И вдруг паук пропал, прямо на глазах превратился в мужчину. Стройное, красивое мужское тело ритмично двигалось... все быстрее... С перехваченным горлом, не в силах проглотить вязкую

слюну, Иван Федорович тупо смотрел. Вот два тела слились. "Фу ты, черт! — Иван Федорович быстро ретировался, нырнул проворно назад за скалу, из-за которой он так неуместно выскочил несколько секунд назад. — Фу ты, черт!" — снова сказал он, проворно ретируясь подальше.

Вроде бы его и не заметили. И в то же время смутное чувство возникло у него в душе. Ему казалось будто теперь следит за ним кто-то. Вроде и не смотрит, а так подглядывает. В сердцах Иван Федорович сплюнул. Ну и гадость пригрелась. Что-то совсем стареть стал, глаза не видят. Он огляделся вокруг. Пустынно. Утренний пляж ровно расстился перед ним. Скала осталась далеко позади. Четыре утра. Все спит. Вода, песок охладельный, и кони Гелиоса, что вынесут через часок горячий шар.

Смутное ощущение подглядывающих глаз не покинуло его. "Фу ты, черт," — в третий раз произнес Иван Федорович на этот раз в полнейшей задумчивости. Он постоял еще минуты три, потом довольно быстро пошел по длинной дуге, огибающей скалу...

Шел он быстро, но видно было, что погружен он весь в свою какую-то очень важную мысль. Время от времени Иван Федорович даже говорил негромко вслух: — Ммда, да, да, — вроде сам себя в чем-то опровергал или убеждал.

Скала отодвинулась в сторону. Иван Федорович остановился. И, напрягая глаза, стал всматриваться. Ровно бледнел остывший за ночь пляж. Ветерок чуть сморщил блестящую темную гладь воды, полетел над голым песком.

Они были еще там. И, конечно, видеть его не могли. Почему же ему казалось все время, что чей-то злобный взгляд наблюдает за ним пристально и неотступно.

Еще зорче глянул Иван Федорович. Тело женщины почти сливалось с песком, чуть розовея под лучами зари. И ясно, отчетливо теперь на этой нежной розоватости он разглядел черное пятно. И в тот же миг понял, кто подглядывает за ним так жестко и нечеловечески. Паук-телепат. Вот кто! Мысль сверкнула. Он испугался и рассвирепел одновременно. И понял, что он единственный на земле знает о страшном пришель-

це-чудовище. Огромное чувство ответственности вытеснило страх. Не колеблясь больше, подхватил Иван Федорович камень побольше и потяжелее и быстро двинулся к скале.

Но чуть ступил он несколько шагов, как темное пятно исчезло, и вновь увидел он два сплетенных в любовной истоме тела.

Отступил назад. Появилось пятно. Опять шагнул вперед. Пятно исчезло.

"Вот оно как, подлец! Радиус действия значит! Сто метров и баста, — радостно и зло подумал Иван Федорович. — И она его за красивого мужика принимает. Вся исходит, тает от страсти. А он, внушил ей это и пьет кровушку преспокойно..."

Иван Федорович снова шагнул вперед и тут почувствовал, как в следящих за ним глазах что-то переменялось. Вроде налились они тяжестью, и эта тяжесть стала переливаться в него. Мысли затуманились, поползли во все стороны бессмысленные обрубки фраз. Он стал забывать, забывать... Что? Иван Федорович мотнул головой. Что он стал забывать?!

Быстро отступил, и в голове просветлело. "Вот оно что, подумал он, — окончательно учуял гад! И не увидел бы я никогда, не захвати его врасплох. Присосался и на миг забылся, подлец. А кто с такого расстояния его разглядит, да еще на самой зорьке? Днем, наверно, прячется..."

Он поднял отяжелевшие веки и вздрогнул. По белому ровному пляжу, стремительно уменьшаясь, двигалось черное пятно. Почти бегом Иван Федорович бросился к скале... Красивое, еще теплое нагое тело застыло в последней истоме. Остановился он, как вкопанный, рукой провел по голове, будто шапку снял. Как-то сразу понял, что перед ним труп. "Вот так бы всем умирать", — мелькнула мысль.

Женщина была очень красива. Тонкая кисть закинута за голову. Вторая рука, видно в любовной остроте, скребла ногтями песок. Еще несколько минут назад эта остывающая плоть трепетала наслаждением, стонала, закрыв глаза и запрокинув голову, кусала губку от мучительной неги. Безвольно раскинулись ее длинные загорелые ноги...

На шее, возле мягкой округлой ямки ключицы, чуть за-
пеклась незаметная ранка.

Обалделый Иван Федорович страшным усилием воли отвел глаза. Тупым взором скользнул вдоль пляжа. Море все сильнее морщилось. Ветерок посвистывал, шелестел. Утренняя дрожь отгоняла сны. Не отдавая себе отчета в том, что делает, в глубокой задумчивости Иван Федорович повернулся и пошел от страшного, так сильно притягивающего места. Теперь он был сосредоточен на одной мысли, одном ощущении... "Найти и уничтожить! Ведь рассказать, никто не поверит! Еще в больницу упекут. Никто! Он один. Один на один. Только он знает, кто этот страшный пришелец. — Иван Федорович ни на миг не усомнился, что это пришелец. — Кто ж еще? Паук-телепат. Оживший бред, но фактам надо верить. Обнаружить и уничтожить! — по-военному сформулировал он главную свою и теперь единственную мысль. — И уничтожить! Но сначала надо найти!"

Иван Федорович даже остановился, но тут же разрешил и эту проблему. Нет ничего проще. Телепата надо искать как бы внутри себя! "Ты за мной следишь, но и я тебя чувствую,— со значением и вкусом по слогам произнес он и засмеялся. — Чувствую, подлец! Теперь мы с тобой связаны так, что не разорвать..." Он сосредоточился на этом ощущении чужих глаз, и ноги его сами повели.

Первыми тело обнаружили мальчишки. С криками и воплями примчались они на центральный пляж, устроили в городе переполох. Через несколько минут плотная густая толпа окружила скалу, кусок берега, где лежала мертвая женщина. Задние напирали, толкались. Передние молча глазели не в силах отойти или оторвать взор от безвольной, страшной и прекрасной одновременно плоти. Любовь, истома, смерть слились в ней вместе. И каждый это ощущал. Странно притягивало, зачаровывало взгляд это раскинувшееся загорелое тело с белеющей нежной грудью. Не оторваться. Сладко начинал ныть позвоночник. "Вот наваждение, — думал участковый, не в силах отвести глаза, оторвать взгляд, медлил, не торопился закрыть простыней сладостную жуть. — Вот наваждение", —

снова пробормотал он и, одернув себя, наконец, набросил на труп белое покрывало. Потом хрипло, но громко сказал:

— Расходитесь, расходитесь, граждане! Чего тут смотреть? Это вам не кино...

Буксуя в песке, подлетела "Скорая". Тело под простыней положили осторожно на носилки, носилки сзади втокнули в машину и, вгрызаясь резиной в пляж, "Скорая" отъехала.

— Расходитесь, — теперь негромко сказал милиционер и сам первый пошел.

Толпа любопытствующих стала расплзаться по розовой полосе пляжа. Горячее, брызжущее светом над спящей водой, поднималось солнце.

Иван Федорович тоже постоял, посмотрел и вместе со всеми стал расходиться. Мысли его, по-прежнему, были сосредоточены на одном четком военном: "Обнаружить противника и уничтожить!" И рассуждал он несложно, зато здраво: "Я — один. Все равно мне никто не поверит. Мой противник — паук-телепат. Я увидел его потому, что захватил врасплох. Так его не увидишь. Жертв, видимо, у него много. Для женщин он — красавец-мужчина. Для мужчин — красавица-женщина. Значит, надо искать красавцев и красавиц и подглядывать, последить за ними издали. Радиус действия телепатии паука не так уж велик. Смертный исход, скорее всего, случайность. Но именно на ней и попался пришелец, как всякий бандит, на чем-то он должен промахнуться, и промахнулся! Вопрос — как наблюдать издали? — спросил себя Иван Федорович лаконично и так же лаконично ответил сам себе:

— Надо купить подзорную трубу.

Он дождался пока открылись магазины, и стали продавать водку. Затем он купил бутылку и выпил стакан. Напряжение утра и ночи того требовало. Выпил одним духом. стакан позаимствовал у автомата с газировкой. Ею же и запил водочную горечь. Натянутые до предела нервы в самом деле отпустили, и теперь он прямо и даже равнодушно-строго глянул в следившие за ним изнутри глаза. И увидел, как в них мелькнула растерянность и даже испуг. "Подожди, подожди!" — грозно и многообещающе пробормотал Иван Федорович и двинулся за трубой.

Шел двенадцатый час дня. Солнце жарило. Ослепительная слепящая гладь моря упруго волновалась под свежим ветерком, и, шипя, брызгала пеной. Отдыхающие облепили берег. Плюнуть некуда. Разомлевший порядком от жары, водки и усталости Иван Федорович уютно и незаметно устроился в сторонке, на вершине одной из торчавших из сухого песка скал. Неторопливо скользил он теперь вооруженным подзорной трубой глазом по рядам отдыхающих тел. Он искал красавцев и красавиц. Обнаружив, брал их на заметку и смотрел дальше. Он был один на один с врагом и сейчас сознавал это особенно остро. Фронтвик, человек большой смелости, выдержки и долга Иван Федорович ожил. Где-то в глубине души он откровенно радовался всему случившемуся. Он снова был на переднем крае, снова стал нужен всем. Чувство ответственности перед собой и миром не оставляло сомнений, и он скользил внимательным взглядом дальше.

Конечно, чужие, нечеловеческие глаза по-прежнему наблюдали за ним. Его противник знал обо всем, что бы Иван Федорович ни делал. Но у членистоногого злодея не было выхода. Хочешь пить кровь — соблазни. Хочешь соблазнить — будь красавцем или красавицей. И эту нехитрую логику жизни, в свою очередь, отчетливо понимал и чувствовал Иван Федорович. Одного он только боялся. Как бы паук не расширил свой радиус действия, внушения и силу. Тогда будет трудно.

В поле зрения окуляра трубы попадали ноги, лица. Вдруг Иван Федорович почувствовал, что чужие глаза, смотревшие за ним, стремительно приблизились. И не успел он еще как следует забеспокоиться, как неприятный резкий голос грубо рывкнул у него позади: "Подсматриваешь?!"

Иван Федорович ловко прыгнул в сторону, как в годы войны в разведке, и выпрямился. Перед ним стоял детина с удивительно маленькой на непропорционально массивных плечах головкой. Мокрые голубенькие глазки его зло поблескивали. А из обиженного ротика, кривляясь, выскакивали странные, злобные слова... Иван Федорович на миг замер и весь соредоточился на себе.

Враг глядел в упор. Он! Конечно же, телепат может в любом обличи предстать перед ним и... Дальше Иван Федорович не раздумывал.

Надо сказать, что все-таки не так прост он был. Войну прошел десантником, да и после служил, так сказать, в специальных частях. Только вот в последние годы оказался не у дел и пошел по административной части... А цель паука — ясна. Лишить его подзорной трубы. Это он сразу понял. Ровно легла его ладонь поперек шеи пришельца. Голубые, мокрые глазки затосковали, ротик искривился еще сильнее, и огромная туша рухнула. Рухнула и в тот же миг пропала.

Щелкнув яростно клешней черное, жесткое тело скользнуло между камнями. С криком "А, гад!" Иван Федорович кинулся за ним, споткнулся и грохнул трубу о камень. Потом вроде очнулся.

— Вот дьявол! — выругался он, недоуменно глядя на выпавшие осколки линз. — Ну ничего. Тебе все равно не уйти...

Взгляд, наблюдавший изнутри, быстро удалялся. Сплюнув в сердцах, Иван Федорович направился в город.

Было три часа дня. Солнце все жгло, по-южному, сухо приятно. Ветер с моря стал сильнее. Черная, блестящая, теперь в крупных складках поверхность воды там и тут закручивалась барашками пены. А на пляже, тягуче вспучиваясь зеленоватой пеной, тяжело ложились валы и, шипя миллионами пузырьков, растекались, пытаясь добраться до ног и одежды курортников, ошалелых и блаженных одновременно. Оглушенных визгом, шумом и грохотом волн.

"Отдыхающие, — томился про себя лейтенант, прислушиваясь к шуму волн и крикам. — Им что? А тут сиди. И все тебя дергают..." — лейтенант вздохнул.

Вентилятор жужжал чуть слышно. В отделении было пусто. Все ушли обедать, возбужденно обсуждая ночное происшествие. "А чего обсуждать! — думал лейтенант. — Садист и все. Мало их тут приезжает. Разве всех проверишь". Он повел тонкой жилистой шеей. Косая ровная прядь черных волос,

как подбитое воронье крыло, свесилась набок. Он откинул слипшиеся волосы назад и блаженно прищурился под струей вентилятора. В этот момент лейтенант и заметил человека по ту сторону конторки.

"Странно, — подумал он, — странно, что так неслышно тот вошел, и я недоглядел..."

— Что вы хотите? — спросил лейтенант, и помимо воли глаза у него сузились и превратились в жесткие щелочки, а лицо затвердело маленькими бугорками.

Иван Федорович, — во всяком случае потом на очной ставке лейтенант и на миг не усомнился, не колебался, что это был именно он — так вот этот Иван Федорович смотрел несколько молчаливых секунд лейтенанту прямо в глаза, потом резко вскинул руку над прилавком и наставил на лейтенанта револьвер.

— Что?! — сказал он тихо, но очень отчетливо. — Загубили подлецы!!

Лейтенант застыл камнем. "Псих!" — мелькнуло у него в голове.

— Гибралтар. Хуже будет, — пообещал посетитель мрачно и раздельно.

И тут лейтенант услышал спасительные шаги у входа в отделение.

Иван Федорович проворно спрятал пистолет, шагнул стремительно к двери и вышел. Лейтенант сидел мгновение, потом встрепенулся и, как тигр, метнулся за ним следом. Выскочил на площадку перед отделением. Никого. Его коллега стоял и, покуривая, поглядывал на розовую распаренную мороженщицу через дорогу.

— Ты не видел, тут прошел? — схватил его за рукав лейтенант.

— Каво не видел? — лениво отозвался коллега, не отводя глаз от мороженщицы.

— Такой жилистый, в гимнастерке...

— Туда свернул, — ткнул "коллега" лениво пальцем в сторону тупичка, влево от отделения.

— Следуй за мной! — приказал лейтенант. Тот был всего лишь сержантом и обязан был следовать за ним.

— Ну! — грозно прикрикнул он и ринулся в проход, расстегивая на ходу кобуру. Из тупичка деться было некуда. Они вбежали в каменный проход. В тенистой прохладе было пусто. Тянуло сквознячком. Кошка зло, испуганно мяукнув, стремительно скользнула у них между ног и сгнула.

— Никого, — сказал растерянно лейтенант. — Ты точно видел? — спросил он, каменя бугорками.

— Точно, — отозвался с вызовом сержант. — А что?

— Куда же он мог подеваться отсюда?

— А... его знает? — сержант загрустил, на лице у него было написано глубочайшее отвращение ко всему происходящему.

Лейтенант зло сбросил косую прядь со лба, посмотрел жестко и каким-то отвлеченным взглядом на сержанта и быстро пошел назад в отделение.

Сержант молча проводил его глазами.

* * *

— Этот, — уверенно отчеканил лейтенант и, казалось, не только лицо, а и весь теперь он сам затвердел мелкими бугорками антипатии и непримиримости. Глаза у него сузились, превратились в острые точки и кололи поникшего перед ним Ивана Федоровича.

Иван Федорович в самом деле сидел, как громом пораженный человек.

Только это он, поспав тревожно часок, вышел на улицу, как его тут же забрали, грубо толкнули в коляску мотоцикла и привезли сюда.

Естественно, он не сопротивлялся. Иван Федорович был прежде всего человек дисциплины.

— Он, точно он, — детина с плаксивыми, мокрыми глазками злобно ткнул в сторону Ивана Федоровича увесистым кулаком. — Как врзал мне ни за что, ни про что. Подглядывал, высматривал, гад, кого еще резать...

— Хватит, хватит, — оборвал его лейтенант. Вы свободны.

— Ууух, — зло промычал детина.

Иван Федорович сидел все так же понурившись, вроде не замечал никого. Он только один раз слегка вздрогнул и поднял голову, когда услышал грудной, певучий голос своей хозяйки, у которой снимал сарайчик.

— Все маялся, просил разбудить пораньше, — торопилась она, раскрасневшаяся, сердитая.

"Хорошая баба, — вяло мелькнуло у него в голове. — Да, что же она говорит такое? Вот дура!" И снова опустил голову.

А та тараторила: "Вот так и сидит бывало. Я спрошу, чего, мол, на пляж не идете. Много, говорит, там больно людей. Значит, люди ему мешали. А в это утро я его разбудила. Он и пошел, — она всхлипнула. — Откуда же я знала, товарищ начальник, что такое может выйти? Откуда?"

— Вы ни в чем не виноваты, — строго сказал лейтенант, — продолжайте!

— А потом пришел и завалился спать. Я разок взглянула. Вينيщем несет. Потом встал, вышел, тут его и забрали,— она поджала губы и села, не глядя в сторону Ивана Федоровича.

Какой-то красавчик городил, будто видел его в четыре утра бродившего, как зверь, по пляжу.

Иван Федорович поразился про себя, почему никто не спросил, а что делал этот красавчик там в четыре утра?

Сержант его тоже узнал. И еще какая-то уборщица что-то видела, что-то говорила, только что, он так и не понял. Лейтенант аккуратно и быстро все записывал. Давал прочитать свидетелю и требовал подписать. Свидетели подписывались. Каждый под своим листком показаний. Иван Федорович все не мог стряхнуть с себя какое-то удивительное оцепенение.

— Вы признаете все, что здесь говорилось? — жестким голосом, в котором звенел металл, спросил его лейтенант. — Признаете?

Тут Иван Федорович стал, наконец, приходить в себя. Поглядел мутным взором вокруг. Вот тут они все. И детина с пласивыми глазками, косо вырезанными в маленькой головке. И неведомый ему красавчик, и его квартирная хозяйка... Он заглянул внутрь себя. Пристально всмотрелся.

В упор, с нечеловеческой злобой глядели на него глаза пришельца. "Вот она какая штука", — прошептал Иван Федорович.

— Что вы сказали? — рявкнул лейтенант. — Признаетесь?

Иван Федорович и бровью не повел. Внимательно он вглядывался в горящие внутри зрачки. "Вот она какая штука, — снова пробормотал он. — Нашел, значит, способ меня устранить. Враг, жестокий и коварный, о котором никто даже не подозревает... Конечно, что ему стоило раздробиться, и стать вот ими всеми, — он украдкой огляделся. "Все, все они тут проекция, наваждение проклятого паука! И ни одного человека поблизости. Никому не крикнешь. А крикнешь, ведь не поверят — садист, псих!"

— Где оружие, — снова рявкнул лейтенант...

...Злобно, торжествуя, в упор горят зрачки его врага! "Ну гад!" — заревел Иван Федорович и кинулся на них.

* * *

Очнулся он в камере. Тревожно спросил себя: "Сколько прошло времени?" Но камера была без окошек, а рассеянный электрический свет о времени сказать не мог. Иван Федорович потер лоб. Голова болела. Тело ныло во многих местах. Видно скрутили его без всяких церемоний. "Вот и отомстил тебе паучок-телепатик". Он скрипнул зубами. И ни одного человека рядом. Никого, кто бы поверил в страшную опасность. И не выберешься ты, Иван Федорович, теперь отсюда. Садист-убийца. Расстрел и готово дело — он застонал от бессилия и ярости.

— Где он тут у вас? — громыхнул за стеной голос.

Иван Федорович затаился. Теперь он глядел только внутрь себя, в самую глубину. Но прислушивался одновременно и к тому, что вокруг. Враг жестоко, нечеловечески глядел со всех сторон. Совсем рядом. "Господи, — машинально прошептали губы Ивана Федоровича, — неужели нет ни одного человека рядом? Никого. И никто не поверит. И дикая мысль зазмеилась, как трещина побежала, вспарывая воспаленную

голову Ивана Федоровича: "А что, если все это вокруг, все, все вообще..." Он почувствовал, что сходит с ума, теряет над собой контроль, как тогда, когда он бросился на них, теряет всякое соображение и вот-вот в безумии начнет грызть руки...

— Нет, нет, нет! — судорожно забормотал он. — Нет! — застонал громко вслух. — Аааааа...

— Это точно, он и убил, товарищ полковник. — Иш психует, — лейтенант уверенно, как человек, исполнивший трудное, но почетное дело, бросил взгляд в сторону камеры с Иваном Федоровичем.

— Санитаров вызвали?

— Так точно.

— А чем вы объясните, лейтенант, что пострадавшая, так сказать, была обнаружена в состоянии, — тут полковник то ли замаялся произвольно, подыскивая слово, то ли намеренно сделал паузу... в состоянии удовольствия, — сказал он, наконец. — Все о том говорит: и внешний осмотр, и поза, выражение лица, и экспертиза, что она испытывала в этот момент или только что до этого — оргазм...

Лейтенант чисто и прямо глядел в глаза начальнику, но молчал. Увы, это было самое слабое место в его версии с Иваном Федоровичем. Маньяк маньяком, а трудно представить, чтобы такая красивая, да к тому же, как выяснилось, очень приличная женщина польстилась на простоватого, жилистого Ивана Федоровича. И муж у нее оказался какой-то "шишкой". Сам полковник из-за этого примчался. Все это ровным частоколом стояло, топорщилось в черноволосой голове лейтенанта, а что там было за ним, разглядеть не удавалось, и он внутренне мучился, хотя и стоял на своем.

— А чем вы объясните, лейтенант, и другое? — тут полковник намеренно сделал паузу и, неожиданно сменив голос с увесистой громкости на тихий шепот, сказал: — Почему нет следов мужчины, а? Вы понимаете, о чем я говорю?

— Может, недозволенным занимались, — хрипловато ответил лейтенант и, сглотнув слюну, добавил. — Я так думаю, товарищ полковник.

— А в это время из нее кто-то кровь пил, а? Смерть ведь наступила от потери крови. С экспертизой не поспоришь...

* * *

Странная штука время. Порой пустые дни тянутся, как годы и ничего не происходит. Месяц скользит за месяцем. Пусто. Вроде некто неторопливо натягивает и натягивает вселенскую рогатку событий, чтобы, выждав в какой-то миг, вдруг отпустить упругую резину времени. Чтобы бешено замелькали, пронеслись мимо нас события одно за другим, сразу, в один день и час перевернулись империи, умерли одни, и возликовали другие. Черт знает сколько всего может случиться в такой день, когда скачет время.

Не прошло и двенадцати часов с того момента, как Иван Федорович, выйдя прогуляться по пустынному пляжу, увидел страшного паука. И вот он сидит в камере, и обвинили его уже во всем.

К четырем часам дня Иван Федорович понял, что не только вот эти: лейтенант, детина с плаксивыми глазами и кривым ротиком, хлыщ, уборщица, его хозяйка... — не только они — наваждение врага всех людей, страшного паука-телепата, гада и пришельца... Нет, не только, а и стены его тюрьмы, вся милиция, и, вообще, весь этот белый, а для него теперь ставший черным и страшным, — свет. Все! И случилось большое несчастье с ним, Иваном Федоровичем, потому что случайно увидел он недозволенное человеку видеть. Вроде как споткнулся, и на мгновение сверкнули сбоку глаза правды, озарили все вокруг, и в этом жестком, слепящем свете растворилась иллюзия. Страшно глядел со всех сторон на него беспощадный телепат, миллионами своих глаз, спрятанных в зыбких, дрожащих широтах реальности.

— Реальность, — горько повторяли губы Ивана Федоровича, — реальность! Вот как оно все обернулось. Вот как!

Закрыв глаза, застыв внутри, недвижно сидел Иван Федорович на цементном полу и не чувствовал холода, не ощущал сырости. Ничего. Только все глядел и глядел внутрь себя,

в глаза этого гада — пришельца. Он не боялся его. Нет. Только одно было желание. Хотелось ему теперь поясней, поотчетливей разглядеть паука, чтобы хоть плюнуть в гнусную харю. "Умирать, так с музыкой!" — думал Иван Федорович и старался заглянуть в себя поглубже, попристальней.

* * *

Как раз в этот момент лейтенант и полковник кончили говорить и полковник прислушался.

— Что это он затих? — спросил он лейтенанта.

— Утомился орать, наверное, — отозвался тот и покрылся, весь затвердел бугорками.

— Подите поглядите, не сделал бы чего с собой...

Лейтенант встал, вышел, припав к окошечку, заглянул в камеру и тотчас вернулся:

— Сидит, закаменел, — сообщил он усмехаясь.

— Ну, пусть посидит, — устало согласился полковник. — Когда должны приехать за ним?

— В шесть.

— Что ж придется ждать. А вы отдыхайте. Подите пообедайте. Вы обедали сегодня?

— Нет еще, не успел вот с этим... — сказал лейтенант.

— Вот и пообедайте, — по-домашнему, по-отцовски предложил и разрешил полковник.

И лейтенант подумал: "Отчего бы ему вправду не пообедать." Есть хотелось сильно. Подумал и решил — "Пойду".

Он встал.

— Да, — остановил его полковник уже в дверях, — там послушайте, чего говорят. Слухов с этим делом не оберешься...

Лейтенант вышел пообедать. Шел пятый час дня. Ветер после полудня окреп. Из ровного стал порывистым, сильным. Потемнела и без того черная вода. Белые кружева протянулись вдоль берега. Заволновалось море. Набежали на пустынную голубизну неба откуда-то стремительные, напоминающие белые вычищенные когти облачка. Стали рвать небесный по-

лог, пока не повалил из распоротой голубизны серый туман. Заволокло все, быстро, разом. А белые кружева на черной, поблескивающей, плотной воде, вспучились, раздулись, закипели. Стальная рябь, как судорога, пробегала по еще лоснящимся бокам тяжелых волн...

Лейтенант едва удержал на голове фуражку. Крутнулся ветер и ловко швырнул горсть пыли в глаза. "А, черт! — выругался лейтенант, помяная лихом так резко и быстро сменившуюся погоду. — С утра какая голубизна была. Все одно к одному".

Он вывернул на площадку с ровными рядами грибков. Под грибками сидели люди. Над площадкой стоял ровный гул их голосов. Загорелые, набирающие силу отдыхающие пили. И, ясное дело, говорили только об одном. О странном убийстве. Слухов разбежалось во все стороны великое множество. И не мудрено, городок невелик. И что в нем? Жара, вода и слухи. А тут такое дивное событие. Секс, убийство, тайна... Что еще надо?

"Хорошо им", — устало и зло подумал лейтенант, вытягивая из форменного воротничка натуженную потную шею.

Налетел ветер, нагнал облака, но прохлады не принес. Наоборот, стало душнее.

"Эх, — вздохнул лейтенант. — Пьют, веселятся, а ты крутись, вертись..."

Он подумал, что скоро тоже уйдет в отпуск и уедет на север, к своим. Поохотиться. Что ему море? Это не дом. А вот лес, другое дело. Под ногами мох, листья. Только-только начинается осень. Утки... Эх! Да что говорить!

Он поискал взглядом официантку и прислушался к разговорам за соседними столиками. Разговаривали все довольно тихо. Тема была пикантной и не нуждалась в громкой акустике. Только за одним дальним столиком надрывался захмелевший толстяк, а его две компаньонши, молодые женщины, такие же толстые, визгливо хохотали. Но острый слух лейтенанта все же уловил обрывки фраз.

— Лесбиянка, ее подружка. Сразу же уехала. А муж с этой подружкой жил...

— В том все и дело, что экстаз. Только сердце не при чем. От потери крови...

"Откуда они все знают? — зло подумал лейтенант. — Болтают все много".

— Что она девушка, что ли?

— Садист, усыпил и пипеткой...

— ...А красивая баба, я вам доложу. Дух захватывает...

— Страшное дело, — неслось из-за другого столика, — моя дочка теперь говорит, что и днем побоится одна гулять. Хорошо есть у нее такой приличный человек...

— Такие приличные и насилуют.

— Да нет, вроде, хороший. А там, кто его знает?

От всех этих шелестящих разговоров лейтенант окончательно разозлился. "Что им до всего? — думал он. — Любопытствуют!"

В сердцах он быстро ел холодный борщ.

Небо из густо-серого стало темным. Грозные фиолетовые подпалыны побежали по разбухшим, налитым влагою бокам.

— Вот-вот дождь будет, — сказал, взглянув на небо, здоровяк за соседним столом.

— Гроза. Сейчас врещет, — согласился с ним собутыльник.

И врезало. Крупные капли стеной повалились вниз и вскипели, схватившись с пылью и асфальтом. Запрыгали, заскакали сверкающие шарики. И четырехгранно, как в театре теней, угловато выступила небесная чернота в яркой беззвучной вспышке. Выступила и провалилась с оглушающим грохотом и треском в такое же черное, яростное море.

* * *

Иван Федорович, застыв, погружался в себя все глубже. Все ближе горели беспощадные глаза безумного пришельца. А мысль, как звонкая чистая сталь, рубила последние канаты надежды. "Весь мир иллюзия, наброшенная мне, как мешок, на голову этим гадом, — так думал Иван Федорович. — Сразу надо было догадаться. Тогда не ясно, чем бы дело кончилось. Теперь конец. Я — единственный, кто знает, — в его руках.

И есть ли еще люди вообще, кроме меня? Или это все и люди, все — галлюцинация моя? Как сон. Проснусь и все исчезнет?"

Так вопрошал себя бедный Иван Федорович и медленно, трудно, но неотступно двигался все дальше, для последней схватки с врагом людей. Он понял теперь, где его надо искать и ловить.

"Пусть даже весь мир — вражеская пелена, — думал он, стискивая зубы. — Ничего, сдержем потихонечку, а там посмотрим, что под ней, там не укроешься от меня", — так думал Иван Федорович.

А гроза гремела вовсю. Гулко и глумливо небесный гогот катился в черных страшных тучах. Рвал их в клочья. Тяжелая стена воды валилась и валилась бесконечно. На улицах начался потоп. Кое-где стало заливать полуподвальные этажи. И так мрачно и тоскливо от этого всего, всех перемен и неожиданностей дня, стало на душе у лейтенанта, что и не описать. Нюх оперативного работника подсказывал ему, что не к добру вершится все это бесчинство. И происходит в мире нечто нехорошее, недозволенное... Только что? На этот вопрос лейтенант ответить не смог бы. Да и никто не смог бы. Поэтому лишь сильнее помрачнел лейтенант. Короткими перебежками, но все же успев промокнуть до нитки, добрался он до отделения. Отряхиваясь, как вымокшая собака, вскочил в дежурную часть.

— Что-то вы быстро вернулись, — встретил его голос полковника.

Три человека в штатском молча кивнули.

"А вот и санитары, слава Богу", — подумал лейтенант и машинально бросил взгляд на часы. Тут он заметил, видимо, первым во всем городе, что со временем творится несуразное. По часам на стене получалось, что он отсутствовал всего пять минут. Лейтенант тут же посмотрел на свой ручной хронометр. Действительно, прошло всего пять минут. Время явно растянуло свои секунды и замедлилось. Ошалело лейтенант уставился на полковника. Тот вроде дремал с открытыми глазами. И эти три фигуры в штатском тоже не двигались, сидели вялыми мухами.

— Да, лейтенант, с часами у вас нелады. Вообще отделению следовало бы подтянуться, — томно и протяжно проговорил полковник. Такого голоса лейтенант у своего шефа никогда не слышал.

Удивился лейтенант. И те и другие часы сегодня сам по сигналу точного времени ставил.

— Давно ваш задержанный без сознания? — медленно спросил один из приехавших. — Не знаем, что делать. Это ваш подопечный. В таком состоянии не положено...

И снова поразился пообедавший лейтенант... "Что-то тут неладно", — мелькнуло в его черноволосой голове.

— Симулирует, наверно, — хрипловато выдавил он из себя, и отметил, что голос его тоже переменялся. Вроде тяжелее стал каждый звук, налился свинцом.

* * *

Со стороны Иван Федорович в самом деле казался человеком, находящимся в глубоком забытии или обмороке. На самом деле еще никогда он так остро не чувствовал и не жил. Враг был обнаружен, и ему некуда было уйти. Теперь уже все быстрее Иван Федорович погружался в себя. "Врешь, гад, не уйдешь! — скользнула яростная мысль. Впрочем, мысли, конечно, уже не было. А было некое ощущение, яростное, стремительное — "Настигнуть и уничтожить! В пыль, прах, чтобы сгнула уродливая фантазия мерзкого пришельца и..." Тут Ивана Федоровича даже оторопь взяла.

Так, бывает, бежишь во сне за обидчиком, догоняешь, ликуешь и вдруг видишь, что не дорога под тобой, а тоненькая пленка, иллюзия мостика. А под ним пустота, бездна. И не обидчик, а ты оказываешься в западне. Ловкость и неприужденность сомнамбулы пропадает и судорожно до синевы и крови впиваются пальцы в ржавый карниз...

Удивительная мысль вдруг ужалила его: "Если все вокруг лишь бред и наваждение кошмарного паука, его телепатия и пелена, то кто же я сам? Кто я? Кто я на самом деле?! — спросил, крикнул, но тут же задавил свой крик Иван Федоро-

вич. Потому что важнее было другое. — Какая разница, кто ты? Уничтожишь врага людей, исчезнет мираж, тогда все и обнажится. Настоящее! И себя узнаешь" — подумал так и стало легко. Твердо и спокойно Иван Федорович стал погружаться в себя дальше. Туда, где в черноте бездны горели совсем уже отчетливо и ясно глаза пришельца, проникшего в наш тихий мир. Врага, внушившего нам все! И только он, Иван Федорович, на свою беду распознал случайно, увидел чудовище. И теперь хочешь-не хочешь, обязан был сорвать пелену со своих глаз и глаз других... Тут снова его стукнуло: "Но, если этот гад мне все, все, весь мир внушил, то есть ли еще люди, кроме меня? Хоть один? В каком они обличье?" И опять черной змеей с горячим раздвоенным жалом заскакала мысль: "Кто я?!" Но вновь он превозмог себя и страх и двинулся дальше в глубину...

* * *

Неразбериха творилась в городке. И не только в городке. Во все стороны от Ивана Федоровича будто волна какая катилась. И там, где прокатывалась она, как-то незаметно наступали сумерки, время потихоньку замедлялось и до странности всем хотелось спать. Животные, так те прямо валились на землю, кого где волна заставала и, потянувшись раза два, замирали.

Правда, были такие очень жизнеспособные, которые замечали неладное и пытались выяснить, установить, дозвониться куда надо. Даже в самом городке было несколько звонков на местную метеостанцию. И в милицию звонили. Правда, это еще до того, как лейтенант возвратился в отделение. Спрашивали, что случилось и почему время останавливается? Один начальственным баском даже требовал и грозил. Но ответа вразумительного им никто не дал. А в одном захудалом отделении милиции, где-то на окраине, даже по матушке послали, решив, что пьяный звонит...

В это самое время хозяйка Ивана Федоровича места себе не находила. Первый испуг ее давно прошел, а природная доб-

рота и здравый смысл взяли свое. И теперь переживала она ужасно. И какие только мысли не лезли ей в голову, одна страшнее другой.

— Сидит, — думала она в отчаянии, — в камере на цементном полу! Это с его радикулитом... Наговорила дура со злом! Приревновала".

— Да разве он мог такое сделать?! — горестно вопрошала она, заламывая руки и убиваясь перед соседкой.— Завтра же пойду к самому полковнику, в ноги бухнусь и все скажу, как есть. Не может быть, отпустит. А не отпустит, и на полковника найдем управу. Суд общественный соберем, на поруки возьмем, против людей не посмеет...

Соседка согласно кивала головой. Только делала она это как-то крайне замедленно. Судьба Ивана Федоровича ее не волновала и потому не было в ней того возбуждения, что в говорившей хозяйке Ивана Федоровича. Впрочем, и у той вместо бойкой привычной пулеметной очереди изо рта слова прямо выталкивались с какой-то натугой.

— Пойду, — снова сказала она и остановилась. — Что это так потемнело? — произнесла она медленно.

— У меня все часы встали, — вяло ответила соседка. — Может, запустили какую-нибудь гадость на Марс, а мы страдаем, не знавши, — она зевнула не скрываясь. — Пойдем спать. Завтра видно будет...

— Пойдем, — вдруг согласилась хозяйка Ивана Федоровича, разом утратив свой пыл, подчиняясь томительной тягости все сильнее сгущавшихся сумерек. Голос ее прозвучал одиноко и хрипло, а слова будто висли возле губ и застывали прямо в воздухе, не достигая другого... "Зря наговорила, — вяло шевельнулось у нее в голове, но ни досады, ни горечи она от этого не испытала. Дремота и приятная сладость разливалась по телу. Она прошла, заплетаясь ногами, в дом и опустилась на диван. Поглядела на ходики. Они по-прежнему показывали какой-то давно уже минувший час. — Сотворишь что-то", — подумала она засыпая.

Неотступный образ Ивана Федоровича тут же возник перед ней совершенно ярко, как наяву. Она потянулась к

нему своим большим добрым сердцем, даже руки протянула и со сладким замиранием в груди полетела, устремилась вся. Будто приподняло ее, и плавно заскользила душа румяной хозяйки к своему жилистому квартиранту, лепеча в странной дремоте никому уже не слышные, бессвязные слова оправдания...

Стеклянная стена дождя по-прежнему падала, рассыпаясь в пыль. Но, как ни странно, как будто медленней летели теперь капли. И ветер не шумел, затих почти и ощущался, в лучшем случае, лишь как беззвучный сквозняк. Синяя чернота стгустилась вверх и ровно замазала все небо и море. Горизонт исчез. Круг сжимался постепенно. Мир закукливался и все длинней казались секунды.

— Симулирует, — снова сказал лейтенант, но в этот раз еще медленней. Он ничего не мог поделать с языком. Куда подевалась былая быстрота и сметка? Удивительное он испытывал ощущение. Как будто мысли застывали, стеклятели. Мозг цепенел и останавливался на том последнем, где стили прозрачные сгустки слов.

Из скользкого, застывшего твердым стеклом лабиринта мысли выскальзывали на волю. Незримо они были связаны с одним источником, с одной точкой. Как яркая скатерть, стоит прищипнуть ее в середке и потянуть, складывается в нацеленное к одному. И обнажается ровное однотонное дерево стола. Так в городке вокруг темнело все, и сглаживалось море с пляжем, с небом. Стеклянные капли дождя все медленней летели. Ветки, листья таяли в воздухе, и воздух становился гуще, сливаясь в одно с предметами. Пестрая скатерка мира быстро сползала, съеживаясь, обнажая ровное неразличимое...

Иван Федорович погружался все глубже. Совсем рядом горели глаза и образ того, кто все придумал и опутал душу Ивана Федоровича. И страстно хотелось ему посмотреть на пришельца в упор и хоть взглядом схлестнуться с врагом людей и мира. Кто сказал, что у бесконечной пропасти нет дна? А вечность никогда не кончается? Вот оно дно, граница.

В ней отражаешься, как в зеркале. И как в зеркале — где плоскость, что разделяет тебя от изображения? Но метафизикой Иван Федорович не занимался. Он шел и шел все глубже, все дальше. Шел навстречу страшному пауку-телепату, внушившему ему весь мир, навязавшему, как наваждение, все, что он знал, любил и понимал... А теперь все прочь! Все полетело к дьяволу, и он шел, чтобы схлестнуться с обидчиком, стягивая, сбрасывая последнюю пелену со своей души.

Лейтенант застыл осоловело. Вот душа его выскользнула легким ветерком из затвердевшего гладкого стекла рассудка и маленькой блестящей мушкой, прилипшей к паутине, устремилась в центр, где застыл создатель липких нитей. Сотни, тысячи легких душ на невидимых присосках стягивались в одно, и быстро сползал последний угол яркой скатерти с темного, ровного стола. Звуки густели и висли в однотонном плотном сумраке. Не черном и не белом. Дома, деревья растворялись в безлунной ночи. Дождь замер, лишь лениво, вяло шлепались беззвучно последние капли. И море стихло.

Вот Иван Федорович достиг последнего предела и попятился. Из небытия глядели глаза. Огромные, нечеловеческие, жесткие глаза. Но не взгляда испугался Иван Федорович. Нет!

Глаза были его собственные. Он и был пришельцем — чуждем. А Иван Федорович, родной и близкий до морщины и ломоты в пояснице, Иван Федорович оказался всего лишь последней его иллюзией. Иллюзией себя.

"Вот оно как обернулось, — пробормотал бывший Иваном Федоровичем. — Как вышло-то. За собой, значит, и гнался..."

Вздохнул он там, в самой глубине и, отбрасывая последнее, слился с глазами и стал собой. Изображение, образ Ивана Федоровича погас последним. Только вроде на прощанье еще шепнул он чисто человеческое: "Вот, мол, как оно вышло". Но звук немедленно застыл. И пришло молчание.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН "ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

А ВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ДВУХ КНИГАХ

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и литературе.

Автобиографическое повествование
"Покинутая Россия" удостоено второй премии
Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 36 лир, при одновременной покупке первой и второй книги — 68 лир. При заказе в редакции, соответственно — 29 лир и 56 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62, Тель-Авив, издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.



Михаил КРЕПС

ПОВОРОТЫ ПРОСТРАНСТВА

ВИРАЖИ

Слишком круто пространство.

Куда ни взгляни —
виражи.

(Как на зависть неспешно плыла на верблюдах Ревекка!)
Из какого мы века?

И сколько нам времени жить?

Слишком узко пространство

чтоб в нем уместить
человека.

Слишком память ранима

в дорогу багаж уложить,

Слишком дорого время

искать себе в путь провожатых,

Нам не надо верблюдов,

но сколько нам времени жить

Надо знать,

нам,

меж глыб голубого пространства зажатим.

ПОВОРОТЫ ПРОСТРАНСТВА

Нам, затерянным в вечности

(год — за две тысячи лет)

Нам, затерзанным в вещности

(нынче почему у вас ласка?)

Надо знать,

что бывает в былое

обратный билет,

И сирены поют,

и сбывается древняя сказка.

Время сжато —

до завтрака не засидимся в гостях,

Время пущено вспять —

с каждым веком мы злей и моложе,

Повороты пространства

круты

до ломоты в костях,

До скрипенья в суставах,

до хруста — Прокрустово ло-

же.

Вновь мелькают

апрели,

сирени,

мосты,

этажи,

Повороты пространства

надеждою новой чреваты.

Мы как прежде летим

принимать за любовь миражи.

Это все виражи...

Это все виражи виноваты.

Удивительный и первозданный
Я по райскому саду брожу,
Незнакомый с тоской чемоданной,
Я на голую Еву гляжу,

В голове ни страстям, ни мыслишкам
Места нет еще. Тишь, пустота...
Слишком мало здесь жителей. Слишком
Много яблок в саду. Неспроста!

Песок и солнце, солнце и песок,
Глаза сухи и мысли дерзновенны,
Блестательные ждут нас перемены —
Мы от судьбы всего на волосок,

Уже отпала надобность в питье,
И заклинанье превратилось в слово —
в проклятье безнадежного больного,
Уроненное в полном забвенье.

Уж не стучит во вдавленном виске
Призыв казнить виновников обмана,
Но вот: о, чудо! вот: о ужас! — манна,
Ложась на снег на песке.

Зачем? Вознесся духом человек,
И нет уж сил передвигаться больше...
А впереди пески, Россия, Польша,
Германия. Земля. Двадцатый век.

СНЕГУРОЧКА

Надоело глотать сумасшедшие майские ливни,
Надоело кружиться в обманчивом вихре весны,
Сны становятся глуше, отрывочнее и прерывней,
И несет уже утро настойчивый окрик: проснись!

Пробуждаются ломкие звуки и хрупкие краски
Городского рассвета и ломаются в двери домов,
Окна слушают утро, как дети волшебную сказку,
Загораясь несложной интригой старинных томов,

И на смену магической, влажной, ночной благодати
Канонадой врывается бешеный башенный бой,
И седой инвалид — оловянный безногий солдатик
С неразумной стихией опять выступает на бой,

Бродит грустный Пьеро, чуть метлою асфальта касаясь,
Переулки, трамваи и птицы поют в унисон,
Электрички везут многочисленных спящих красавиц,
И колеса стучат: то не сон, то не сон, то не сон,

А когда ветер мчится по улицам, как по траншеям,
То в басовом играя зарю, то в скрипичном ключе,
Тянет броситься первому встречному парку на шею,
И, рыдая, растаять на теплом зеленом плече.

Зловещ рассвет. Над городом заря.
По голубому ярко-красной раной.
Как ревностью по сердцу. Впрочем зря
Я ревновал. Их видела охрана.

Вложить персты в рассветный кровоток?
 Неверие не подтвержденье ль веры?
 Что ж, Дездемоны кружевной платок
 Подкинули мне ловко лицемеры.

Да, но в платке ли дело? Что платок? —
 Безжизненный клочок расшитой ткани.
 Пустяк. Забудь. Забвения глоток
 Глотни. Оставь сомнения в стакане.

Не подтвержденья ищут, а причин,
 И ждут не продолженья, а развязки,
 У хитрости достаточно личин,
 У ревности одной лицо без маски.

Глоток. Забудь! Глоток. Платок не в счет!
 Пустяк! Но вновь сквозь белизну сирени
 Всезнающего Яго хищный рот
 И Дездемоны розовой колени.

Подруга осень! Жалкий лицемер
 Я узнаю себя в твоём обличье:
 Есть что-то нарочитое и птичье
 В старанье нашем соблюсти размер.

Ты скажешь: чувство меры — не порок,
 И домосед счастливее скитальцев,
 Но время ускользает из-под пальцев,
 Но молодость уходит за порог.

Рассветы стали хрупки и нежны,
 Закаты отцвели и пожелтели,
 Следы весны, неужто в самом деле
 Вы никому теперь уж не нужны?

Ромашек тлен — гадали о любви,
 И листьев медь — дарили на прощанье,
 Но не поймать, уж как там ни лови,
 На ветер брошенные обещанья.

Стремилась ввысь, а опустились вниз
 К твоим ногам, двуличная подруга...
 Лишь памяти никак не выйти из
 Воспоминаний замкнутого круга.

А3

БАЛЛАДЫ ДЛЯ МАЙИ

И ты была при море и при небе,
 Была при звездах, как при орденах,
 Была при людях, при любви, при хлебе,
 При вкусе волн соленых на губах.
 Была при белой раскаленной суше,
 Где сохнет на песке рыбацья сеть,
 Где воздух к ночи становился суше,
 А ночь была огромнее, чем смерть.
 Там медное казарменное солнце
 Будило спящих о шестом часу
 И проникало в кровь твою, как стронций
 И сон дрожал, как капля на весу.
 Плечей мельканье, солнцем обожженных,
 Плененье тел бесхитростных и душ —
 Был четок их рисунок обнаженный,
 Как на бумагу пролитая тушь.

И ты была при море... Но однажды
 Все души оказались при телах,
 При хлебе, при любви остался каждый,
 При камне — берег, море — при волнах...
 И ты спешила к своему причалу.
 Садились солнце и туман седел.
 Плыл твой корабль. И чайка закричала,
 А ты была, как прежде, при себе.

2

Перебираю пыльные кораллы,
 В дырявую их прячу кисею,
 И вспоминаю, как ты потеряла
 Страну свою, Шотландию свою,

Вручили нам такое королевство,
 Которого не любят короли:
 Оно не переходит по наследству,
 А только, знай, сжигает корабли.

Такое бы хорошему монарху
 В делах державных знающему толк —
 Он храм подарит каждому монаху,
 А каждой келье — пол и потолок.

Но тем твоё правление сурово,
 Что дышит неоконченной главой...
 На полуслове умолкаю снова —
 Летит корона вместе с головой.

Но был один любимый и взлелеянный,
 В скитаньях по дремучим городам:
 Петровскими дышал он ассамблеями
 И век свой невеселый коротал.

3

В Летнем Саду рыбий пруд подо льдом.
 Холодно, холодно статуям.
 Каждой богине построили дом —
 Храм с деревянными ставнями.
 Эта каморка, подруги, тесна...
 Ах, нам на солнце погреться бы...
 Спите, богини, наступит весна —
 Будет и Рим вам и Греция...

Сатирические стихи московского поэта И. Гарика давно и широко известны в Самиздате. Они уже стали достоянием фольклора. Их перепечатывают, заучивают наизусть, а на некоторые стихи из цикла "Обгусевшие лебеди" (печатавшиеся в самиздатском журнале "Евреи в СССР") написаны песни.

Стихи для этой публикации взяты из сборника И. Гарика "Дацзыбаю", который в ближайшее время выйдет в издательстве "Москва-Иерусалим".

И. ГАРИК

РОДИВШИСЬ В СУМРАЧНОЕ ВРЕМЯ...

Сегодня приторно и пресно
 в любом банановом раю,
 и лишь в России интересно,
 поскольку бездны на краю.

Мы живем, беспокойно дыша,
 без различий от кесаря к слесарю,
 и у каждого в пятках душа,
 и любая пята — ахиллесова.

От Павлика Морозова внучат
 повсюду наплодилось без него;
 вокруг мои ровесники стучат —
 один на всех и все на одного.

Одиноко бренчит моя арфа,
расточая отпущенный век,
и несет меня в светлое завтра
наш родной паранойев ковчег.

Прощай, Россия, и прости,
я встречу смерть уже в разлуке;
от пули, голода, тоски,
но не от мерзости и скуки.

Сперва над нами были ханы,
потом — последыши тевтонов,
а нынче собственные хамы
рождают собственных Платонов.

Зачем живем, не знаем сами,
поддержку черпаем из фляг,
и каждый сам себе — Сусанин,
и каждый сам себе — поляк.

Мои влечения не духовны;
мои симпатии непрочны;
ужасно помыслы греховны,
и все зачатия порочны.

Нет ни в чем России проку,
странный рок на ней лежит:
Петр пробил окно в Европу,
а в него сигает жид.

Всю жизнь философ похотливо
стремился истине вдогон;
штаны марксизма снять не в силах, —
чего хотел от бабы он?

Наследства нет, а мир суров,
что делать бедному еврею?
Я продаю свое перо,
И жаль, что пуха не имею.

Царь-колокол не звонит, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
и ясно, что евреи виноваты,
осталось только летопись найти.

Восхищая страну вероломством,
соблазнясь на лимонные рощи,
уезжают евреи с потомством,
оставляя сердца и жилплощадь.

Вращается глобус наш утлый,
на Запад ползет светотень;
китайское славное утро
сулит замечательный день.

Неведомая новая заря
колышется для Вани и для Васи:
бросая их без Бога и царя,
евреи уезжают восвояси.

Чугунные висят вокруг печати
растления, запуганности, злобы,
и даже непорочное зачатие
сегодня ничего не принесло бы.

Ошалев от передряг,
спотыкаясь, как калеки,
мы вернули бы варяг,
но они сбежали в греки.

Все годы я грустил о том,
что сужен круг ролей:
неслабым был бы я шутом,
да нету королей.

Стихи мои, они не пропадут!
Общительностью близких и друзей
они в архив Лубянки попадут,
а это — неминуемый музей.

Однажды здесь восстал народ
и, став творцом своей судьбы,
извел под корень всех господ;
теперь вокруг одни рабы.

Гори огнем, покуда молод,
подругу грей и пей за двух,
незримо лижет вечный холод
и тленный член, и пленный дух.

Лубянка по ночам не спит,
хотя за много лет устала,
меч перековывая в щит
и затыкая нам орала.

Сегодняшний день лишь со временем
откроет свой смысл и цену:
Москва истекает евреями
через отверстие Вены.

Льется листва, подбивая на пьянство;
скоро снегами задуют метели;
смутные слухи слоятся в пространство;
поздняя осень; жиды улетели.

Мне климат привычен советский,
к тому же — большая семья.
Не нужен мне берег суэцкий —
в неволе размножился я.

Стало скучно в нашем крае,
не с кем лясы поточить,
все уехали в Израиль
ностальгией сплин лечить.

Из комсомольского актива
ушел в пассив еще один,
в кармашке для презерватива
теперь ношу валокордин.

Когда страна — одна семья,
все по любви живут и ладят;
скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, за что тебя посадят.

БИБЛИОТЕКА "ВРЕМЯ И МЫ"

Идя навстречу многочисленным просьбам читателей, издательством скомплектованы три серии "БИБЛИОТЕКИ "ВРЕМЯ И МЫ", которые продаются с большой скидкой.

1. **КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ СЕРИЯ** — включает все номера журналов, выпущенных за последний год (с 7 по 20 номер), а так же следующие книги: Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" (2 книги "Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии (Книга о Войне Судного дня 285 стр., 40 фотографий, изд-во "Карив"). Всего 18 книг. Стоимость при заказе в редакции 298 лир, за границей — 35 долларов, включая доставку. Возможна оплата тремя чеками. Стоимость в магазине — 320 лир.

2. **КНИЖНАЯ СЕРИЯ** — Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" ("Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии, изд-во "Карив", всего 4 книги, стоимость 98 лир, за границей — 15 долларов, включая доставку. Стоимость в магазине — 120 лир.

3. **ИЗБРАННАЯ СЕРИЯ** — включает лучшие произведения, опубликованные за последний год в журнале "Время и мы": Зиновий Зиник "Извещение" (журнал № 8), Борис Хазанов "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" (журнал № 9), А. Б. Иошуа "В начале лета - 1975" (№ 10), "Сладкая жизнь Никиты Хряща" (№11), Борис Ямпольский "Большая эпоха" (№ 13), Борис Бахтин "Ванька Каин" (№ 14), Олдос Хаксли "Счастливый новый мир" (№№ 16, 17, 18) — всего 9 журналов, стоимостью 150 лир, за границей — 17 долларов. Стоимость в магазине — 170 лир.

Заказы с указанием серии присылать по адресу: ул. Нахмани 62/9 Тель-Авив. К заказу должен быть приложен чек на соответствующую сумму.

В марте 1978 года в Иерусалиме состоялась дискуссия о принципах деятельности организации "Международная Амнистия". Она проходила в доме д-ра Эдди Кауфмана, председателя Иерусалимской секции Международной Амнистии. В дискуссии приняли участие Дик Остин, заместитель председателя правления Амнистии (Лондон), Э. Кауфман, М. Агурский, Алекс Таргонский (Иерусалимский университет), д-р Майкл Вейд (Иерусалимский университет), Шарль Эндерлин (журналист, радиостанция "Голос Израиля"), Галина Келлерман (Иерусалимский университет), Энди Сильвер (общ. деятель, Иерусалим), Джеф Хальперн (Иерусалимский университет).

Круглый стол редакции

КОГО ЗАЩИЩАЕТ

"МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ"?

А г у р с к и й . Можете ли вы дать точное определение позиции Международной Амнистии? Кого вы защищаете? Правда ли, что вы не защищаете людей, применявших насилие?

О с т и н . Это не вполне точно. У Амнистии есть четыре цели, приложимые к трем различным категориям заключенных. Первая цель — борьба за освобождение всех узников совести. Вторая цель связана с гораздо более многочисленной категорией — политзаключенными. Амнистия борется за то, чтобы любой политзаключенный, независимо от того, применял ли он насилие, судился строго по закону. Ведь часто случается, что политзаключенные годами сидят в тюрьме без суда и следствия. Третья цель Амнистии — борьба против пыток — применима ко всем категориям заключенных, уголовных и политических, применявших или не применявших насилие. Четвертая цель также касается всех категорий заключенных и состоит в борьбе за безоговорочное запрещение смертной казни.

А г у р с к и й . Борцы за права человека в СССР часто бывают смущены принципами деятельности Амнистии. Нам трудно было понять, как Амнистия защищает одновременно людей

в СССР, осужденных за разговоры или изготовление машинописной рукописи, и людей в западных странах, которые принадлежат к партиям и группам, стремящимся к установлению у себя тоталитарных режимов типа советского.

О с т и н . Амнистия — это не моральная организация. Амнистия полагает, справедливо или нет, что людей нельзя сажать в тюрьму за их идеи. И не дело Амнистии решать, является ли та общественная система, которую защищает подвергающееся преследованиям лицо, хорошей или плохой, будет ли эта система в случае победы ее сторонников "производить" узников совести или нет. Амнистия вообще не занимается критикой политических систем. Мы сделали исключение лишь в случае Южной Африки, постановив, что в этой стране нет смысла бороться против отдельных случаев арестов и других нарушений прав человека, ибо все эти нарушения порождены существующей там системой.

Итак, одно дело — бороться за свободу слова, но совсем другое — вводить критерии того, какие политические взгляды можно защищать, а какие — нельзя. В Амнистии состоят люди самых различных политических взглядов. Если вы введете такие критерии, вы расколете организацию, и она потеряет возможности влияния на самые разные режимы.

А г у р с к и й . Я не удовлетворен. В вашей деятельности вы сознательно избегаете моральных критериев. В результате этого вы объективно становитесь, как ни парадоксально это звучит, прокоммунистической организацией. Такие авторитарные страны, как Чили или Южная Африка, остаются все же в политическом континууме западного мира, и поэтому вы, по меньшей мере, можете у них получить всю информацию относительно арестов и других преследований не угодных режиму людей, чтобы бороться за их права. Но в Советском Союзе или в Камбодже у вас будет очень мало или не будет совсем зарегистрированных случаев нарушения режимами прав человека, хотя известно, что в СССР в лагерях сидят тысячи и тысячи узников совести (часто всего лишь за принадлежность к той или иной религиозной секте), а в Камбодже уничтожена четверть ее населения — полтора мил-

лиона человек. Таким образом, в вашей деятельности получается существенный перекося: поскольку у вас есть, скажем, всего пятьдесят зарегистрированных случаев нарушения прав человека в СССР и пятьсот таких случаев в Чили, вы уделите в десять раз больше времени и сил положению в Чили, к тому же защищая людей, которые, я снова это подчеркиваю, стремятся к установлению тоталитарного коммунистического режима.

В э й д. Я хотел бы разяснить несколько пунктов, которые удивляют д-ра Агурского. Я полагаю, что Амнистия в самом деле является порождением либеральной буржуазной идеологии, доминировавшей в английском обществе последние 70-80 лет. Право устраивать демонстрации в защиту тоталитарной системы — это право свободного человека, и оно должно защищаться. Если вы начнете запрещать поддержку тоталитаризма, это будет началом уничтожения демократических свобод. Амнистия не пытается решить, что такое-то лицо выражает более правильные, с моральной точки зрения, взгляды, чем иное лицо. Амнистия стремится внести свой вклад в создание в мире такой ситуации, при которой как можно больше людей будут иметь возможность выражать свои политические взгляды с минимальной опасностью пострадать за это.

К а у ф м а н . (Обращаясь к Агурскому) Если вы говорите о моральных критериях, то встает вопрос: а кто будет судьей? Кто будет решать, что правильно, с моральной точки зрения, а что нет? Я думаю, что Амнистия должна бороться за свободу любого заключенного, посаженного в тюрьму за выражение политических взглядов. Если та система, которую поддерживали диссиденты, придет к власти и окажется тоталитарной, то есть появятся новые политзаключенные, то Амнистия так же будет бороться за их освобождение. Как мы можем заранее решить, окажется та или иная система тоталитарной? Например, еврокоммунисты утверждают, что их режимы будут демократическими. Как мы можем проверить заранее — правда это или нет? Мы не можем судить по их намерениям, надо подождать, пока они придут к власти.

О с т и н . Я вообще не думаю, что надо делать различие между тоталитарными режимами Востока и Запада. Обе системы ущемляют права человека, хотя различными способами и в разных размерах. Но совершенно не очевидно, что коммунистический режим обязательно должен нарушать права человека. Конечно, в СССР есть тысячи или даже десятки тысяч политзаключенных, но в некоторых коммунистических странах Восточной Европы их сравнительно мало. В коммунистических странах есть другие проблемы прав человека, но Амнистия ими не занимается. У нас ограниченные цели и возможности.

Вы можете задать более серьезный вопрос: способствует ли Амнистия, защищая людей, выражающих тоталитарные взгляды, приходу к власти в данной стране худшего режима? Но на этот вопрос ни один индивидуум, ни одна организация не могут дать ответа. Нельзя заранее предвидеть, ухудшится или улучшится ситуация с правами человека после установления того или иного режима.

Т а р г о н с к и й . Вы говорили, что Амнистия защищает людей, которые являются сторонниками коммунистов, ибо совершенно не очевидно, что коммунисты будут нарушать права человека, придя к власти. Но тогда вы должны будете защищать и людей, проповедующих фашизм, например, фашистский режим гитлеровского типа. Я представляю себе группу политических идеалистов в Западной Германии, или Чили, или в Южной Африке, которые заявят, что лучший политический режим, когда-либо существовавший, — это гитлеризм, и что они будут всеми силами стремиться к установлению подобного режима. Я не уверен, что Международная Амнистия возьмется защищать членов такой группы, если они будут арестованы правительством данной страны. Ибо у нас есть опыт нацистской Германии, и вы не можете сказать, что нельзя предвидеть последствия прихода к власти нацистского режима. Однако, у нас есть и советский опыт! И у нас есть опыт коммунистического Китая. Есть две разные, хотя и схожие во многом системы — коммунизм и фашизм. Если вы поднимаете вопрос о моральных критериях, то луч-

шим критерием, я думаю, является человеческая жизнь. Сколько жизней было уничтожено тем и другим режимами? А г у р с к и й . Ведь фашистские партии запрещены в целом ряде стран, не правда ли?

О с т и н . Не думаю, что они запрещены во многих странах, но я точно не знаю. Я не уверен, что есть законы против нацистов в строгом смысле этого слова, но полагаю, что правительства западноевропейских стран приняли бы определенные меры, если бы в их странах возникли группировки, стоящие на нацистской платформе.

А г у р с к и й . Стало быть, Амнистия не стала бы защищать сторонников нацизма?

О с т и н . Не очевидно. Мы защищаем людей, чьи политические взгляды не связаны с применением насилия. Но если интерпретировать фашизм как идеологию, которой неотъемлемо присуще насилие, то мы не будем защищать людей, исповедующих его. Разве коммунизму неотъемлемо присуще насилие?

А г у р с к и й . У нас есть опыт коммунизма! Вернемся теперь к моему предыдущему вопросу. Что делает Амнистия в связи с положением в Албании и Камбодже?

О с т и н . Мне кажется, что вы рисуете картину только белой и черной краской. Естественно, нам гораздо труднее получать информацию о положении в коммунистических странах, хотя недавно нам удалось, например, послать делегацию Амнистии на Кубу, и мы опубликовали отчет о ситуации там. Неужели вы предлагаете нам остановить работу в тех странах, откуда мы имеем возможность получать информацию о преследованиях, до тех пор, пока мы не получим возможность действовать в Албании или Камбодже, для того, чтобы соблюсти политическое равновесие? Амнистия — прагматическая организация. Мы действуем всюду, где можем. И это несомненно лучше бездействия.

К а у ф м а н . Я хочу уточнить то, что сказал Остин. Что делать, если у нас много информации об одной стране и мало о другой? Надо помнить, что речь идет о живых людях. Если мы знаем о тысяче случаев в Чили и пятидесяти в Албании, мы не

должны брать под опеку только пятьдесят случаев в Чили для политического равновесия. Но мы не должны, с другой стороны, останавливаться перед трудными случаями. Мы не должны заниматься только теми странами, откуда легко получить информацию. Нужно балансировать наши усилия. У Амнистии есть свой исследовательский центр, который занимается получением и обработкой информации. Раньше, в связи с недостаточным количеством сотрудников, Амнистия сосредотачивала свои усилия преимущественно на "легких" странах. Теперь мы собираемся пригласить на работу экспертов, специализирующихся по "трудным" странам. Э н д е р л и н . Я прекрасно понимаю ограничения Амнистии в отношении коммунистических стран с закрытыми границами. У Амнистии нет своих Джеймсов Бондов, которые могли бы тайно проникнуть в Камбоджу для расследования преступлений режима, и нельзя осуждать ее за это. Но у меня есть другой вопрос к Амнистии. Это вопрос о насилии. Я лично верю, что люди, борющиеся с оружием в руках за осуществление своих человеческих прав, заслуживают защиты, как например те, кто боролись против нацистов в Европе, или те, кто борются сегодня против репрессивных режимов. Могут ли эти люди рассчитывать на помощь Амнистии?

О с т и н . Уточним еще раз основные принципы Амнистии. Амнистия не борется за освобождение узников совести, применявших насилие. Но она борется за то, чтобы политзаключенные, даже применявшие насилие, были судимы с соблюдением законности и чтобы к ним не применялись пытки и смертная казнь.

Если бы Амнистия стала бороться за освобождение людей, применявших насилие, то в глазах данного государства она была бы приравнена к оппозиционной группе и потеряла бы в значительной степени свою эффективность, основанную на объективности и невмешательстве в политические проблемы.

Есть и другой практический аспект проблемы. Часто трудно решить, является то или иное насильственное действие политическим или уголовным актом. Как охарактеризовать деятельность группы Баадер-Майнхоф? Немецкое прави-

тельство считает их уголовными преступниками, ибо они убивают людей, грабят банки и т.д. Они же считают себя политической группировкой, и действительно, их мотивация — политическая. Мы признаем их политическими преступниками и готовы добиться для них справедливого суда и гуманного обращения, но было бы немыслимым добиваться их освобождения из тюрьмы.

А г у р с к и й . Еще один вопрос в этой связи. Как вы расцениваете идею насильственной революции. Это насилие или нет? Ведь все коммунистические партии Латинской Америки призывают к такой революции.

К а у ф м а н . Вспомните, что в Чили коммунисты и социалисты были у власти, однако, нам практически не известно о каких-либо нарушениях прав человека в этот период. Так что оставим лучше проблему коммунистов и насилия.

Но я хочу сказать несколько слов о насилии в принципе. Недавно в Иерусалимском университете несколько арабских студентов отказались подписать петицию Амнистии за освобождение узников совести. Они говорили: "Почему вы боретесь только за освобождение заключенных, не применявших насилие? Мы думаем, что наше дело правое, и поэтому вы должны бороться также за освобождение наших товарищей, применявших насилие". Эндерлин думает, что оправдано применение насилия в борьбе с нацистским режимом, но другие скажут, что оно оправдано в борьбе с коммунизмом, а третьи — в борьбе с сионизмом. Мы не сможем найти общего знаменателя, если начнем признавать, что какие-то виды насилия заслуживают оправдания.

Э н д е р л и н . Я действительно думаю, что всякий репрессивный тоталитарный режим заслуживает вооруженной борьбы с ним. Вот мой вопрос: рассматривает ли Амнистия какой-либо тип режима как насильственный, то есть применяющий насилие по отношению к собственным гражданам? Имеет ли право, с точки зрения Амнистии, гражданин, живущий при таком режиме, сражаться против него?

Р е п л и к а : Будет ли Амнистия защищать человека, покушавшегося на Иди Амина?

Р е п л и к а . Ложная проблема: Иди Амин прихлопнет его на месте!

К е л л е р м а н . Я хотела бы задать следующий вопрос. Не лучше ли было бы придерживаться в деятельности Амнистии некоторых моральных принципов, выработанных на основе международно-признанной Декларации Прав Человека? Рассмотрим с этой точки зрения дело Кузнецова. Он намеревался угнать самолет, был осужден за это и не подпал под защиту Амнистии, ибо угон самолета есть формально акт насилия. На деле он никакого насилия не совершил, а угон самолета рассматривается им как средство осуществления своего элементарного права, признанного Декларацией Прав Человека, — права покинуть свою страну, которое в то время он не мог осуществить легальным путем. С другой стороны, Амнистия готова защищать человека, лично не совершившего насильственного акта, но арестованного за принадлежность к организации, проповедующей насилие. По-моему, Амнистия не должна поддерживать лиц, принадлежавших к организациям с идеологией, противоречащей принципам Декларации Прав Человека.

О с т и н . Во-первых, мы вовсе не считаем автоматически узником совести человека, принадлежащего к организации, проповедующей насилие. Каждый случай рассматривается индивидуально. Я попытаюсь также ответить на предыдущий вопрос. Многие, и я в том числе, были бы рады, если бы Иди Амин был убит. Но мы не могли бы ходатайствовать об освобождении его убийцы из тюрьмы. Мы иногда стараемся помочь людям в таких ситуациях косвенным путем, передавая имеющиеся у нас сведения заинтересованным лицам и организациям.

Если мы хотим добиться наибольшего эффекта от нашей работы, мы должны найти общий знаменатель, как выразился Кауфман, с возможно большим числом людей и организаций, а это накладывает определенные ограничения. Мы — все еще небольшая организация с ограниченными ресурсами.

Э н д е р л и н . Вы говорите, что добиваетесь законного суда для политических. Но что вы называете "законным судом"?

Что вы имеете в виду, когда говорите, что добиваетесь "законного суда" над русским или южно-африканцем? Является ли законным суд, творящий правосудие по законам, противоречащим элементарным правам человека?

О с т и н . Мы вовсе не принимаем законы любого правительства. Законы во многих странах, как Чили или СССР, для нас неприемлемы. Мы стараемся выработать некие международные стандарты, по которым мы оцениваем деятельность правительства. Часто бывает так же, что закон хорош на бумаге, но его реальная сила зависит от того, как его используют. Должна ли Амнистия утверждать, что такой закон плох? Мы должны тщательно следить за исполнением законов и предпринимать конкретные шаги, если власти злоупотребляют законами.

К а у ф м а н . Я хочу перейти к проблеме пыток. Амнистия против любого применения пыток. Но будем реалистами. Предположим, полиция арестовывает члена террористической группы, зная, что до ареста он успел подложить взрывчатку. Если мина взорвется, погибнут десятки невинных людей. Время ограничено, дорога каждая минута. Есть ли у правительства право подвергнуть задержанного террориста пытке, чтобы узнать, где лежит мина?

О с т и н . Вы хотите, чтобы я и на этот вопрос ответил? Везет мне сегодня! Амнистия настаивает на абсолютной недопустимости пыток. Итак, в случае террориста, подложившего бомбу в кино, вы применили пытку и получили нужный результат. Где гарантия, что в другой раз пытка не будет применена в менее серьезном случае? Именно это произошло с французами в Алжире. Они начали применять пытки в крайних случаях, но потом начали использовать их и в менее крайних случаях, уже не для того, чтобы узнать, где бомба, а для того, чтобы узнать у одного лица местонахождение другого лица, которое по подозрению полиции может иметь сведения о том, где заложена бомба. В течение нескольких лет пытка стала обычной практикой, применявшейся полицией по отношению к любому в чем-либо подозреваемому лицу.

С и л ь в е р . Мы все знаем, как Амнистия проводит кампа-

нию против пыток того или иного лица. Даже срочная акция занимает две-три недели. Поэтому фактически Амнистия эффективно борется только против длительных пыток. В случае однократного и кратковременного применения пытки Амнистия может только сделать принципиальное заявление, что не имеет никакого практического значения.

К а у ф м а н . Я бы сказал даже больше. Если страна использует пытку исключительно в экстремальных ситуациях, типа ситуации с подложенной бомбой, нет опасности, что такая практика распространится. В Израиле для применения пыток нужно получить письменное разрешение от двух министров — министра юстиции и министра обороны, поэтому нет опасности злоупотреблений со стороны полиции. Я бы сконцентрировал усилия Амнистии в области пыток на тех странах, откуда мы имеем сведения об их систематическом применении. Х а л ь п е р н . Я хотел бы вновь вернуться к проблеме водораздела между политическим преступлением и уголовным. Мне кажется, что акты террористов, убивающих невинное гражданское население, должны быть осуждены Амнистией. Если применение пыток есть аморальный акт, то безусловно аморально и убийство невинных людей. Амнистия должна найти способы осуждения таких актов, независимо от того, во имя каких политических целей они совершены.

К а у ф м а н . Я хочу дать вам конкретный пример. Я присутствовал на конференции Амнистии по смертной казни в Стокгольме, и мы разбирали там вопрос об экстра-юридических преследованиях, то есть об убийствах, совершенных неправительственными организациями и группами. Многие были против того, чтобы Амнистия занималась такими случаями. Но в конце концов было принято решение, что Амнистия в принципе должна бороться против подобных акций. Вспомним историю с Тупамарос в Уругвае. Они боролись против правительства и завели свою собственную тюрьму, которую они назвали "Народной тюрьмой". Там они держали пойманных ими противников и судили их "народным судом". Я думаю, что Амнистия должна осуждать убийства, пытки и заключения в тюрьму и тогда, когда они совершаются не правительственными организациями.

А г у р с к и й . Я проведу историческую параллель. Во время первой русской революции в 1905 году общественное мнение осуждало правительство за смертную казнь террористов, но не было никакого осуждения самих террористов, совершавших насилие против правительства, полиции и т.д. Русское либеральное общественное мнение тем самым фактически поощряло терроризм.

О с т и н . В прошлом году Амнистия приняла резолюцию, осуждающую пытки и казни неправительственными группами, такими, как ООП, Освободительное движение Юго-Западной Африки или Ирландская Революционная армия. Но я не могу припомнить, чтобы были предприняты какие-либо конкретные шаги. И как мы можем вести переговоры с ООП и подобными организациями? Вопрос в том, насколько это будет эффективно. Мы не имеем пока такого рода опыта. Случай с ООП кажется более простым, ибо эта организация имеет почти правительственный статус. Она признана правительствами целого ряда стран, имеет представительство в ООН. Однако, имеет ли в принципе какое-либо значение для подобных организаций моральное осуждение со стороны Амнистии? У меня нет ясного ответа. Нам также трудно действовать в случае массовых расстрелов, например, когда полиция открывает огонь по толпе в случае беспорядков. Вы можете попытаться вмешаться, если у вас сидит на месте корреспондент с телекомом, но это редко случается.

Э н д е р л и н . Я хочу подчеркнуть, что случай с ООП совершенно особенный, ибо эта организация признана в ООН. Я думаю, что осуждение ее террористических актов Амнистией могло бы иметь огромное моральное значение для Израиля и для многих в мире.

К а у ф м а н . Еще несколько слов об общих принципах. Некоторые люди могли бы упрекнуть нас, почему Амнистия, занимаясь в принципе правами человека, не борется за эмиграцию из Советского Союза, который является большой тюрьмой? Другие могут сказать, что мы должны бороться за запрещение ядерного оружия, ибо мы против смертной казни, а применение ядерного оружия означает массовое убийство.

Но Амнистия не может заниматься всем. Мы начали только с узников совести. Позже мы начали заниматься также пытками и смертной казнью, хотя уже по этому вопросу были расхождения, ибо некоторые считали, что Амнистия не должна требовать отмены смертной казни за уголовные преступления.

А г у р с к и й . Из всего, что было сказано сегодня, я понял, что философия Амнистии отражает некую изолированную ментальность, непригодную для всех стран и для всех случаев. Отсутствие моральной основы базируется на неверии в возможность объективного суждения. Я не думаю, что строго формальный подход является лучшим. Ни одно правительство и ни одна группа не основывают свое поведение на строго формальном подходе. Я не думаю, что философия Амнистии совместима с сегодняшней реальностью. Подход по принципу общего знаменателя может иметь опасные последствия, худшие, чем применение каких-либо моральных критериев. К е л л е р м а н . По формальному принципу вы должны были бы защищать Эйхмана!

К а у ф м а н . Мы против смертной казни в целом. Конечно, есть очень проблематичные случаи. Одни скажут, что Эйхмана безусловно следовало казнить. Другие скажут, что следует казнить маньяка, убившего собственную жену и детей. Такой случай был недавно во Франции. Может быть, Амнистия вообще не должна заниматься смертной казнью, а поставить себе более важную цель — например, запрещение ядерного оружия?

О с т и н . Безоговорочное осуждение смертной казни было включено в статус Амнистии только в 1972 году. Относительно пыток и смертной казни мы не можем делать различия между политзаключенными и уголовниками. Мы не можем заявить тому или иному правительству: вы не имеете права пытать или казнить политического заключенного, но делайте, что хотите с вором или убийцей. Конечно, с пытками ситуация более ясная, а проблема смертной казни всегда вызывает споры. Но Стокгольмская декларация Амнистии определила, что смертная казнь является крайней формой жестокого,

бесчеловечного и деградированного общественного поведения, и я думаю, что из этого исходит большинство членов Амнистии. Это может быть нелегко мотивировать, но легко почувствовать путем сравнения. Что бы вы сказали, если бы новый режим в Пакистане возобновил традиционный исламский закон — отрезать вора́м руки? Это наверняка вызвало бы всеобщее возмущение. Но ведь отрезать человеку голову — это еще страшнее!

К а у ф м а н . Я попытаюсь все-таки сформулировать, почему Амнистия занимается только худшими нарушениями прав человека — лишением свободы за выражение идей, пытками и смертной казнью. Это происходит не только из-за нехватки людей и денег. Это вопрос принципа. Конечно, есть проблемы свободы печати, свободы организаций, свободы передвижения, эмиграции и т.д. Ограничения всех этих свобод являются нарушениями прав человека. Но что является наихудшим результатом ограничений подобных свобод со стороны правительства? Тюрьма, пытки, смертная казнь. Это очень скверно, если кто-то не может получить разрешение на издание газеты. Но гораздо хуже, если за попытку все же издать эту газету он садится в тюрьму. Итак, Амнистия занимается борьбой за самые существенные человеческие права.

Редакция не согласна с основными положениями предлагаемой статьи И. Бирмана. Однако мы считаем, что читателям журнала эта публикация может показаться небезынтересной. Статья И. Бирмана отражает типические представления об СССР, бытующие в среде университетских и технократических интеллигентов США, которые ищут разные оправдательные причины для развития сотрудничества с Советским Союзом.

И. БИРМАН

СОВЕТСКИЙ РЕЖИМ: ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

С самых первых дней советской власти ей предрекали неминуемую и скорую гибель. Список таких прорицателей велик. А советский режим устоял в гражданской войне, справился с коллективизацией и гитлеровским нашествием. Миллионы советских граждан прошли через архипелаг ГУЛаг. Известны бесчисленные факты о несвободе в СССР, беззакониях, несправедливости, страданиях.

Известна неэффективность советской экономики, известно, что четверть миллиарда людей, населяющих эту громадную и могущественную страну, сегодня, в последней четверти XX-го века, имеют отнюдь не современный уровень жизни. И уже совсем близок тот самый 1984 год, когда, по Амальрику, советского режима уже не будет.

А СССР существует. И движется вперед, стал сверхдержавой. И другая сверхдержава — могущественнейшая, богатейшая страна, бастион западной цивилизации — так и не дождавшись конца советского режима, пошла, по инициативе чуть ли не самого ярого своего антикоммуниста, на пресловутый детант. А следующий президент, тоже никогда симпатиями к

коммунизму не отличавшийся, хоть и избегал словечка "детант", поторопился слетать во Владивосток, подписал Хельсинкское соглашение, одолел Минни в споре о продаже зерна, отступил в Анголе. А еще следующий президент поведал немного о гражданских правах да и примолк.

Почему Никсон и Киссинджер так упорно пытались ужиться с советской властью в безумном до сумасшествия сегодняшнем мире? Почему ищет компромиссов Картер? Почему Солженицын, Сахаров и другие ищут способы не искоренения системы, а лишь видоизменения ее, уповая на то, что советскую власть можно улучшить, сделать хоть немного более приемлемой и для своих народов и для иных сосуществующих народов мира? Не хочу осуждать здесь поборников детанта. Тем более не буду спорить с героями и мучениками (хотя и не обязательно пророками). Но факт очевиден — и те и другие уже не надеются на скорый, или даже не очень скорый крах советской власти. Иначе, зачем тогда детант, зачем взывать тогда к советским правителям.

Так не пора ли обсудить настоятельнейший вопрос современности, во многом определяющий близкие и далекие судьбы всей нашей цивилизации — почему этот режим вообще существует, что именно давало, дает и (говоря это с горечью) будет давать ему силу? Почему и как СССР послужил образцом для многих уже стран? Почему на всех континентах, исключая лишь Австралию и Антарктиду, возникли и крепнут другие советские режимы, и еще ни один подобный режим не пал?

Ответить на эти вопросы однозначно практически невозможно. Да и не в этом моя цель. Я, главным образом, хочу привлечь к ним внимание. Ибо, только трезво взвесив все "как" и "почему", мы, надеюсь, сможем выработать стратегию, которая поможет нам уцелеть в эпоху смертельной опасности.

Давно известно, что всякий короткий ответ неверен. Тем более, на вопросы такой чрезвычайной сложности. Любая попытка объяснить стабильность советского режима лишь одной, даже целыми двумя причинами (скажем, с точки

зрения одного нашего великого современника, режим держится лишь на терроре и лжи), заранее обречена на неудачу.

Существует же СССР благодаря комплексу идеологических, политических, экономических и других причин, объясняющих этот печальный феномен.

СИЛА ИДЕОЛОГИИ

В первую очередь, надо сказать о советской идеологии, то есть о совокупности взглядов, представлений, идей, составляющих духовную основу советского общества.

По великим произведениям Солженицына, как и по другим менее талантливым произведениям о современной советской жизни, можно подумать, что Советская Россия сплошь состоит из страдальцев и злодеев. Солженицын прав в такой классификации героев своих книг. Нам же здесь важно, что думают сами люди, важны их субъективные представления и результаты воздействия на них советской идеологии, советской пропагандистской машины. А тут трудно не видеть, что и страдальцы и злодеи не только лишь плачут и скрежещут зубами, они довольно часто смеются. В том-то и состоит идеологический успех советской власти, что и угнетатели и угнетенные не всегда почитают себя таковыми.

Настроения людей, их мироощущение во многом определяются именно идеологией. Правда, марксизм утверждает, что главное — это всякого рода материальное. Но как раз советские марксисты куда больше заботятся о духе советских людей, чем об их хлебе насущном. Они хорошо понимают, что для устойчивости режима важно не столько, как люди на самом деле живут, а что они субъективно об этом думают.

В чем же основа силы советской идеологии? Не в том ли, что она провозглашает "идеальные идеалы", взывает к прекрасному чуть ли не во всех областях? Она ратует за прочную семью и высокую мораль. За образованность и воспитанность. Против шовинизма, но за национальные традиции и патри-

отизм. Против карьеристов, склочников, а иногда даже против доносчиков, и за честность, порядочность. Против пьяниц и воров. Против корыстолюбцев, но за материальный достаток. За гармоничное сочетание интересов отдельной личности и общественных интересов. Даже за свободу и демократию. Против всего этого не возразишь.

Колоссальным пропагандистским преимуществом советской идеологии — я особенно ясно понял это здесь, на Западе — является ее призыв к равенству. Именно этот призыв сделал ее привлекательной для масс и так называемых левых интеллектуалов. Такой простой, понятный и, по внешности, такой справедливый призыв.

Можно произнести речь, написать книгу со сплошными отрицаниями. Можно отрицать существующий порядок, даже добиться революционного разрушения его. Но на одних отрицаниях, так же, как и на одной ненависти, далеко не уедешь, уж во всяком случае не дальше разрушения. Идеология не может лишь отрицать, она должна и утверждать, иначе она не может быть успешной*. И советская идеология утверждает, причем, как мы видим, утверждает вполне симпатичные вещи. Человеку обещают не больше не меньше, чем рай. Не сильным и способным, как капитализм, не праведным, как религия, а всем. Всякому. И не на небе, не после жизни, не вместо нее, а на земле. При жизни нашего поколения.

Другой вопрос — насколько провозглашаемое соответствует действительному. Невозможность осуществления провозглашаемых идеалов, в особенности, при данном режиме, тщательно обходится, затушевывается. При этом советская идеология достаточно гибко приспосабливается к различным изменениям, к движению времени. Ушло "даешь мировую революцию". Ушел облик живого бога в Кремле. Китайские пропагандисты совершенно правы, говоря о духовном перерождении советского общества, ибо все дальше в прошлое уходит и призыв ко всяческим лишениям во имя грядущих успехов. При всех изгибах и отклонениях в советской идеологии все явственнее звучит тема вполне естественных, хотя

* В этом, кстати сказать, по-моему, одна из глубоких причин упадка антикоммунизма как идеологии, как политического течения.

ранее и подавлявшихся, стремлений обыкновенных людей к обыкновенному достатку.

Далее. Из пропасти между неустанно повторяемыми и неосуществляемыми идеалами вырастает политическое лицемерие. Воспитанное длительным процессом послушания, подкрепляемое иезуитским правилом абсолютного подчинения интересов личности интересам партии (родины, государства), взлелеянное свято соблюдаемым обычаем публичного покаяния, такое лицемерие становится привычным до автоматизма и... как это ни парадоксально, искренним.

В человеке генетически заложены черты, предопределяющие его связь с обществом. Даже делая для личного успеха нечто в ущерб ближним и преступая общественные установления, он пытается оправдать себя. Найти в своих корыстных мотивах полезное обществу. Причем он делает это для самого себя, так сказать, наедине с собственной подушкой. Не в том ли задача любой идеологии, чтобы найти способы сочетания личных и общественных устремлений, дать основу для этических и правовых формулировок правил жизненной игры? И уже с этой позиции различать добро и зло.

Советская идеология выполняет эту задачу разными путями и в том числе воспитанием вот именно этой самой искренности лицемерия. У меня здесь нет места для подробных, доказательных иллюстраций, но объективный наблюдатель должен видеть этот парадокс. Осмелюсь утверждать, что и на самом "верху", даже среди членов политбюро, наверняка были и есть люди, искренне верующие в ежедневно провозглашаемые и ежедневно ими же попираемые идеалы. Вероятно, среди тех, кто принимал решение о вторжении в Чехословакию, были такие, кто думал не только о смертельной угрозе их личной власти, но и о том, что дальнейшее, не контролируемое ими развитие событий в этой несчастной стране приведет к "утрате социалистических завоеваний".

Лишь немногие из тех, кто занимается общественной деятельностью, могут быть, так сказать, откровенными злодеями. Каждодневная публичная ложь, ежеминутное лицемерие, если они осознаются, неизбежно разрушают личность.

За одним исключением — если лжец и лицемер не находит для себя каких-то моральных оправданий*. И вот эту страшно трудную задачу советская идеология выполняет вполне успешно.

В своем подавляющем большинстве люди советского "нового класса" или воспринимают ту или иную ложь как истину, или же находят оправдание в каких-то высших, вполне благородных мотивах.

Думаю, что никто из них не считает себя злодеем. Они искренне убеждены, что творят благо для страны, для своего народа (при этом они отнюдь не прочь сделать что-то и для себя). Поэтому, в частности, призыв Солженицына бороться с ложью, как и многие в истории благородные призывы, идеалистичен до идилличности и вряд ли будет воспринят в массе.

Я ни разу не употребил выше словосочетание марксистско-ленинская идеология. Не вдаваясь глубоко и в этот вопрос, замечу лишь, что в некоторых отношениях советская идеология далеко отошла от канонического марксизма. Пару лет назад Вуган Магсе провозгласил в "Нью-Йорк-Таймс", что марксизм мертв. Это так и не так. Но сейчас нам важно, что в СССР умеют не только политически и практически, но и теоретически уходить от ненужных и мешающих в каждый данный момент шор марксизма. И в этом также сила советской идеологии.

Говорят о цинизме в СССР, особенно среди молодежи. Во-первых, цинизм далеко еще не стал массовым. Во-вторых, циники, хоть и не положат добровольно живот за советскую власть, но и не будут с ней бороться, коль скоро она сильна. На то они и циники. И в-третьих, именно циники часто оказываются наиболее верными и искусными слугами режима.

* Думаю, Никсон искренен, когда недавно говорил, что президент может быть "выше закона", вряд ли он лукавит в этом пункте.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ МАШИНА

Советская идеология неизменно опирается на пропагандистскую машину. Интеллигенция относится к ней полуиронически, да и на Западе ее явно недооценивают, но эта машина — одно из наиболее эффективных созданий советской власти.

Ее укрепляет внешнее благородство, справедливость, привлекательность провозглашаемых идеалов. Ее упрочняет политическая система, делающая "промывание мозгов" совершенно обязательным. Ей сильно помогает и то, что она монопольна, действует без серьезных противников, ибо советской идеологии не противостоит другая, ей нет альтернативы, и к этому мы еще вернемся.

Советская пропагандистская машина, умело используя трудности Запада, постоянно и небезуспешно внушает, что советская система — наилучшая.

Очевидное достижение этой пропагандистской машины — создание мифов: образы вождей всех рангов, заботливо культивируемая вера в то, что если справедливость поправа, то ее можно обрести на высших ступенях правящей иерархии; невероятные заслуги и нравственные совершенства чекистов всех времен.

Самый же главный и, пожалуй, наиболее распространенный миф — это то, что все плохое — лишь результат частных принципиальных ошибок, что сама советская система вполне хороша и с течением времени, по мере преодоления недостатков, станет еще лучше.

И еще: советская пропагандистская машина весьма эффективно канализирует недовольство масс, подсовывая конкретных виновников. Сначала — фракционеры, затем — вредители и шпионы, во все времена — империалисты, бряцающие оружием, уже довольно давно — евреи.

Отнюдь не в последнюю очередь советская пропаганда использует чувство долга перед Родиной. Четыре года назад я говорил в СССР с человеком из самой что ни на есть интеллек-

туальной элиты*. Он, казалось бы, все понимал, у нас были сходные суждения, но вот что он сказал: " Морально ты не имеешь права уезжать. Слой интеллигенции так тонок. Мы должны нести наш крест — постепенно, шаг за шагом распространять знание, просвещенность. Это наше единственное, но оружие в борьбе за нашу страну".

В результате подавляющее большинство советских людей, подмечая многое плохое в СССР, ощущая его на себе, относят это плохое не к порокам системы, а к частностям, вызванным личными ошибками, а потому случайным и значит вполне исправимым. И сегодня многие советские граждане связывают свои идеалы и надежды с самой системой, не замечая принципиальную невозможность реализации своих чаяний в ее рамках. Более того, даже часть диссидентов, наверное, не видят этого, раз они провозглашают надобность борьбы за соблюдение конституционных прав или же, как братья Медведевы, за исправление режима на базе марксизма.

Да и многие "левые" на Западе, также не понимая, что подобные идеалы в рамках советского режима никогда не будут реализованы, утверждают, что страшна не советская власть, а всякого рода Сталины, Мао, Брежневы.

Один из элементов этой пропагандистской машины — различные механизмы "спуска пара". Думают, что интеллигенты, добивающиеся возможности что-то легально покритиковать, что-то немножко осмеять, тем самым размыают идеологические основы режима. Наоборот! Несколько лет назад председатель комитета по кинематографии Романов сказал на одном, разумеется, закрытом совещании: " Нам нужна критика, и нам нужна сатира. Люди видят, что недостатки замечены, они надеются, что их можно исправить, что они будут исправлены. Это снимает раздражение".

Конечно, в СССР есть люди, ненавидящие советскую власть, это ее идеологические противники. Большинство населения индифферентно, пассивно. Да и активные люди в своем по-

* Он сравнительно молодой и очень известный профессор по одной из самых современных областей знания. Один его дед был священником, другой — раввином.

давляющем большинстве веруют в советскую власть и так или иначе поддерживают режим.

Если бы это было не так, если бы большинство населения было против режима, против его идеологических основ, советская власть рухнула бы. Неверно утверждать, что режим держится лишь на страхе, на терроре. Ведь массового террора давно уже нет*. Пример диссидентов мог бы вдохновить многих. В России искони были люди, готовые стать мучениками. Но сегодня люди просто устали бояться.

"НОВЫЙ КЛАСС"

Политическая машина советского режима достаточно хорошо известна, и я ограничусь немногим. Главное заключается в том, что удавалось и удастся не допустить организованную политическую оппозицию.

Казалось бы, она появилась в конце шестидесятых годов в виде движения диссидентов, однако мало-мальски внимательный взгляд показывает, что реальной угрозы советской власти эти люди, при всех их заслуживающих высокой похвалы личных качествах, не представляют.

Эти несколько десятков людей объединяются критикой существующих порядков, однако, ни у кого из них нет минимально разработанной положительной программы, нет идеологии, которую можно было бы всерьез противопоставить правящей идеологии. Они разобщены организационно. Они и критикуют режим с совершенно разных позиций, мы видим тут всю гамму: "русифилы", далее Солженицын, затем Сахаров и вплоть до марксистов — братьев Медведевых.

Так или иначе, пропагандистской машине не надо бороться с позитивными программами диссидентов по причине отсутствия таковых. Именно поэтому диссиденты и не представляют политической угрозы режиму.

* Есть разные оценки, но теперь в СССР никак не больше, чем несколько тысяч политических заключенных. Органы подавления преследуют теперь не инакомыслящих, а тех, кто реально что-то делает против режима.

Трудно сказать, способен ли был уцелеть режим в ленинско-сталинское время, не будь он таким кровавым. Как мне кажется, главное заключается в том, что новые власти (но не новый режим) смогли полностью заручиться поддержкой "нового класса".

Прежде всего значительно расширился его состав. По самым скромным подсчетам, теперешний "новый класс" — всякого рода партийные, хозяйственные, военные и прочие "чиновники", "остепененные" ученые, начальство всех мастей — составляет несколько миллионов человек. Правда, как раз где-то на периферии этой единственно активной среды формируются диссиденты и питательный слой для них, но, с одной стороны, их ничтожно мало, а с другой — это происходит именно на периферии.

Почему "новый класс" поддерживает режим? По многим причинам. Дело не только в том, что он составляет руководящий слой, следовательно, борьба с режимом была бы борьбой против самих себя: дворяне, например, с царским режимом боролись. Главное тут то, что действует весьма эффективная система контроля за настроениями и мыслями, система подбора, воспитания и выдвижения политически надежных, послушных, верных кадров. В результате на командных постах — да и вообще в рядах "нового класса" — оказываются люди, в которых, что говорится, в плоть и кровь вошло не только непротивление режиму, но и убежденность в принципиальных преимуществах режима (об искренности такого лицемерия я уже выше говорил).

Чтобы представить себе, сколько людей из относительно образованного слоя могут составить оппозицию режиму, стоит обратить внимание на такой факт. Начальный тираж "Нового мира" во времена Твардовского составлял что-то порядка ста тысяч. Это при высоком его качестве, при том, что он был тогда несравненно лучше любого другого толстого журнала. Учтем, что далеко не все читатели журнала принимали его политическую линию, а многие — не понимали. Причем сама эта линия никак не была антисоветской, объективно она была ориентирована на исправление, улучшение режима.

Таким образом, мы можем судить о самой верхней, предельной оценке числа людей, которым была просто интересна и приемлема даже такая, отнюдь не крайняя критика.

Еще один факт относительно оппозиционных настроений в СССР. Научным фактом едва ли его можно считать, ибо он не документируется и основан лишь на моих личных впечатлениях. Мне пришлось, например, обсуждать вопрос о вторжении в Чехословакию с некоторыми военными, чиновниками, учителями, инженерами. Меня поразило, насколько действительно единодушным было их отношение к происшедшему. Они совершенно искренне считали оккупацию Чехословакии необходимой еще до того, как она произошла. Круг близких мне людей был потрясен всем этим, но сколько нас было таких...

Ну, а как насчет настроения масс — этого самого молчаливого большинства? Было бы глупо говорить, что это большинство воодушевлено идеями строительства коммунизма. Но массы пассивны, напрочь отучены от ненаправляемой сверху, неконтролируемой активности. И даже в случае возможного, хотя и маловероятного, стихийного взрыва недовольства (такие случаи, как мы знаем, были), люди оказывались и окажутся без сколько-нибудь организованного руководства, без программы действий.

Да массам и не очень нужны политические свободы, они хотят хлеба, зрелищ и водки. Зрелища и водку они получают — телевизор, футбол-хоккей, домино, — как-то насыщают соответствующие духовные потребности. Несмотря на рост цен на водку, потребление ее растет. Сложнее с хлебом, но учтем, что со сталинских времен достаток в деревне поднялся и продолжает возрастать, заметно возрос уровень жизни и в городе. Нельзя сказать, что все счастливы, когда нельзя купить лук, не говоря уже о мясе, но, право, было бы наивным полагать, что это может привести к какому-то действительно реальному движению масс в стране.

События в Польше, Венгрии, Чехословакии здесь не могут служить примером. Во-первых, в некоторых из этих случаев настроения людей сильно подогревались национальными

чувствами. Во-вторых, еще очень свежи были воспоминания о других временах, живы были люди "из прошлого времени". С другой стороны, в-третьих, в соответствующие моменты не были еще достаточно сформированы в этих странах "новые классы". Но уже во время последнего взрыва в Польше, в польском "новом классе" немедленно нашлись люди, сумевшие использовать этот взрыв в своей внутривластной борьбе, обойтись без советских танков и, практически ничего не изменив, сохранить и даже упрочить режим.

Одна из причин того, почему диссиденты не обращаются к массам, почему не возрождается ничего, даже отдаленно похожее на народничество, заключается в том, что не только правители, но и их немногие оппоненты боятся всякого рода революционных взрывов, стихийного движения масс. Теперь уже поняли, что всякое такое движение, случись оно, зальет страну кровью.

Собственно, именно поэтому многие диссиденты вводят в той или иной форме к правителям, рассчитывая на изменения под давлением снизу, но направляемые сверху, по сути дела, — на изменение режима самим режимом.

Некоторые считают, что при определенных условиях возможно изменение режима под воздействием технократов. Не буду здесь оспаривать эту точку зрения, хотя на ней строятся целые концепции о поддержке определенных элементов в Кремле с помощью американской внешней политики (просто это отдельная и достаточно сложная проблема), но если это даже и произойдет, то есть, если в советской правящей верхушке возобладают более образованные люди, не только жаждущие власти, но и желающие эту власть употребить на пользу стране, то вряд ли мы увидим какие-то принципиальные изменения. Дело не только в том, что любые изменения такого рода вызовут решительное сопротивление "нового класса" в целом, а случай с Хрущевым показал, чем это кончается. Гораздо важнее то, что у людей, которые решились бы на некоторые принципиальные изменения, не окажется положительной программы таких изменений.

Ну, а как насчет военного переворота? Или переворота милиции, КГБ? С одной стороны, уж что-то, а такие вещи советские правители научились понимать превосходно, тут они специалисты высшего класса и не хуже нас знают, что делать, дабы такого не допустить. С другой — опять-таки невероятно предположить, что подобные выступления, если бы даже они и состоялись и оказались бы успешными, привели бы к чему-либо большему, чем персональные перемены в правящей верхушке.

Большинство наблюдателей, по-моему, верно считает, что более реален сдвиг режима "вправо". Но если даже победит группировка с более либеральной позицией, трудно ожидать, что такая группировка сможет длительно удерживать власть. Специфика системы такова, что устоит лишь весьма твердая, сильная, а значит и "правая" власть.

Широко известно, что одна из глубоких причин падения Хрущева заключалась в том, что он постоянно пытался что-то изменить в системе, расшатывал ее, за это и поплатился. Не зря любимое, "ключевое", как говорят в Америке, слово в окружении Брежнева с самого начала его правления — стабильность. Режим всячески противится любым структурным изменениям, даже, если, казалось бы, они и на пользу самому режиму.

Разумеется, такая политика имеет свои недостатки, вызывая недовольство творческой интеллигенции и технократов. Выдвигается все более распространенное теперь обвинение брежневскому правлению в стагнации, что совершенно верно. Но критики думают о пользе стране, а правители — о пользе режиму. А для режима же и его упрочения вряд ли нужны изменения. Чем меньше движения, тем более прочен, стабилен режим.

Было бы, однако, неверно думать, что нынешняя политическая ситуация в СССР это — тишь, гладь да Божья благодать. В самом верхнем, реально правящем слое есть соперничающие группировки, есть серьезные противоречия различных слоев "нового класса" в целом. Все более явственными становятся межнациональные проблемы, о которых, кстати сказать, почти не пишут советологи.

Как ни мало мы знаем о повседневной деятельности "вождей", как ни отрывочны наши догадки о постоянной "борьбе под ковром", мы можем уверенно сказать, что от них требуется немало усилий, чтобы усидеть, удержаться. Возможно, в тот или иной момент над некоторыми, или даже над каждым из них, лично нависает угроза. Но — не над режимом.

ЭКОНОМИКА

Экономические обстоятельства, связанные со стабильностью советского экономического режима, пожалуй, самый трудный для меня вопрос, может быть, потому, что он наиболее мне знаком.

Известно, что общепринятых характеристик состояния экономической системы не существует. Тем более не очень понятно, как определить ее устойчивость, стабильность. Однако приблизительный, грубый ответ на этот вопрос определяется простым обстоятельством — насколько состояние и динамика системы удовлетворяют данное общество в целом или же его правящую группу (класс). Иначе говоря, крайне важно даже не столько само состояние экономики, сколько субъективные представления о ней людей. При этом, разумеется, такие представления должны иметь и известные объективные основания.

А эти объективные основания, при отсутствии абсолютного критерия, по сути дела, есть не что иное, как сравнения — с прошлым, с другими странами, с другими группами населения. Именно с этой точки зрения весьма существенна "закрытость" советского общества. Безраздельное господство в нем советской пропаганды делают почти невозможными такие сравнения.

Главное, что характеризует как само состояние экономики, так и представления о ней людей — темпы ее роста. Вообще говоря, все экономики растут, и трудно назвать такую страну мира, где жизненный уровень не возрастал бы, но во многих странах этот общий рост перемежается спадами. А в

СССР экономика в целом — хоть и замедляющимся с течением времени темпом — растет. Правда, это совсем не значит, что советская экономика перманентно не находится в тяжелом, кризисном состоянии.

Прежде всего, в прошлые годы быстрый, а в последующие — более медленный, рост экономики происходил главным образом "сам по себе". Общие объемы производства возрастали значительно быстрее производства так называемых конечных продуктов, в особенности, продуктов для населения. Да это, собственно, и провозглашалось пресловутым законом преимущественного роста первого подразделения общественного производства. Причина же замедления темпов роста — неэффективная, нелепая система хозяйствования.

Трудности советской экономики настолько велики, что ЦРУ, проанализировав ситуацию, заявило в недавнем докладе, опубликованном для всеобщего сведения, что в восьмидесятых годах промышленный рост в СССР прекратится вовсе. Мне представляется, что в этом докладе можно принять почти все, кроме конечного вывода. Дело в том, что у советской экономики, при ее органических пороках, есть и ряд определенных преимуществ.

Назову сначала необъятные природные богатства, уникальный набор полезных ископаемых и других естественных ресурсов. Правда, их использование становится все труднее и дороже, в частности, приходится все больше углубляться в Сибирь, но это общемировой процесс — не только нефть и кофе сильно подорожали на мировом рынке.

Весьма важно, что в результате чудовищных жертв и лишений в СССР создана достаточно мощная промышленность, которая способна производить практически все необходимое, хотя и не наилучшего качества.

Как я это понимаю, в целом плановый характер советской экономики — ее несомненный недостаток. Но нельзя не видеть, что контролируемое хозяйство в то же время реализует вполне определенные преимущества. Так, удастся концентрировать силы и средства на решающих участках, как это было,

например, во время последней войны, минимизировать темпы инфляции, хотя и не избежать ее, свести на нет громадные убытки, вызываемые безработицей.

Наконец, при том что отсутствие разумной конкуренции в целом на экономике сказывается отрицательно, удастся избежать многих потерь, вызываемых именно конкуренцией.

Не знаю, можно ли это отнести к преимуществам советской экономики, но следует заметить, что бюрократическая организация советской экономики не чужеродна бюрократической организации общества в целом.

Итак, я в принципе считаю, что советская организация экономики глубоко неэффективна или, более аккуратно говоря, менее эффективна, чем так называемая капиталистическая экономика. Однако из этого отнюдь не обязательно следует, что развитие советской экономики обязательно остановится.

Вопрос в том, что даже в рамках советского политического режима, так сказать, не разрушая советскую власть, в принципе возможно хозяйствовать значительно лучше, чем это в действительности делается. Для этого необходим ряд экономических реформ, которые назрели уже давно и начали подготавливаться в последний период правления Хрущева, но не были осуществлены кликой Брежнева. Однако, все более критическая ситуация неизбежно поставит сегодняшних правителей (или же "наследников Брежнева") перед необходимостью разработать и осуществить такую программу.

Несомненно, что именно экономические трудности представляют собой самую серьезную угрозу режиму, однако, у него есть потенциальные возможности с ними справиться.

Уровень жизни советских людей будет, как и сейчас, постыдно низок для современной сверхдержавы. Однако если будет обеспечиваться хотя бы некоторый рост этого уровня, режим устоит.

Последнее об экономических вопросах. Приходится, наконец, сказать, что наиболее серьезную экономическую помощь советская власть получает от Америки. Дело тут не

только в поставках зерна, хотя и это крайне важно. Более существенно, что благодаря политике детанта и переговорам о разоружении СССР может несколько ослабить пресс военных расходов. Между тем, ясно, что продолжение гонки вооружений совершенно разорительно для советской экономики.

У меня язык не поворачивается сказать, что надо заставлять советских руководителей тратить все больше на оборону и тем самым неизбежно подвести их к экономическому кризису. Этот путь чреват серьезными опасностями для международного мира. Но, как мне кажется, недооценивается тот факт, что для правителей СССР, по сути дела, нет другой альтернативы, и они в своих переговорах просто блефуют.

ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ВЗАМЕН?

Я уже говорил выше об отсутствии удовлетворительной альтернативы советскому режиму — и теперь хотел бы подчеркнуть снова — у его противников нет положительной программы.

Дело тут не только в том, что так называемые западные демократии не идеальны. Подвергаясь мазохистским атакам собственной интеллигенции, находясь в тисках многочисленных собственных проблем, они — во всяком случае в сегодняшнем их виде — не могут служить идеалом, образцом для следования. Приходится повторить известное: поскольку сам человек несовершенен, наивно уповать на совершенное человеческое общество. И так же, как человек никогда не разрешит подлинно трагическую свою проблему — проблему смертности, — точно так же он никогда не создаст идеальное общество. Никогда.

Поэтому, в любом подобном выборе, надо не столько стремиться к невозможному, хотя и желанному идеалу, сколько отвергать наихудшее. Это наихудшее, очевидно, — советский режим. Но что предложить взамен?

Очевидно, что любого рода "социализм с человеческим лицом", будь он даже возможен на какое-то время, оказался бы лишь переходным режимом, — ибо в принципе не мог бы быть жизнеспособным.

Путь же к чему-то подобному западным демократиям от существующего режима не только длинен. Будучи реалистами, мы понимаем, что этот путь не будет поддержан большинством населения. Вспомним недавний опыт Испании — ее теперешние руководители очень медленно и очень постепенно меняют политическую структуру общества и должны благословлять судьбу, что им не надо при этом проводить глубокие экономические преобразования. Стоит представить себе на минуту, что было бы в Испании, если бы здесь существовала проблема — отдать землю помещикам, а заводы — капиталистам, чтобы понять, что соответствующие преобразования в СССР практически невозможны.

Можно сказать и так. Если бы в СССР уже существовало нечто вроде западных демократий, то можно было бы убедить население в том, что советская власть намного хуже и что не надо идти от плохого к отвратительному. Но убедить людей бороться с отвратительным ради плохого неизмеримо труднее.

В том-то и дело, что лозунг борьбы не за идеальное, а только за не очень плохое общество пропагандистски весьма уязвим. Эту позицию, при том, что она единственно верная, практически трудно сделать реальной и успешной политикой.

ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА

Моя попытка краткого анализа проблемы привела к пессимистическим выводам. Зададим традиционный русский вопрос — что делать? И можно ли сделать что-либо вообще?

Трудно сказать. Собственно, размышляя над всем, что здесь написано, я пришел несколько лет назад к решению эмигрировать. Но ведь не предложишь такое четверти миллиарда людей. Да ведь, скажем прямо, не все эмигранты обрели счастье.

Мне кажется, не только морально, но и политически неверно исходить в политике из факта стабильности режима, необходимости уступок ему. Между тем, принципиальная стратегия некоторых заключается в том, что надо помогать неэкстремистским элементам в Кремле и в то же время искать пути, так сказать, затягивания режима в такие ситуации, где он зависит от Запада. И затем эту зависимость использовать. Очень опасный путь, тем более, что, по сути дела, все это укрепляет режим.

Сознавая всю неизреченную трудность ситуации, отчаявшись, некоторые ищут ответ на вопрос "что делать" в разных формах личного самоусовершенствования, в поисках внутренних ценностей. Один из вариантов этого — все распространяющаяся среди интеллигенции религиозность, причем религиозность обрядовая.

Невозможно осудить этих людей за такой путь отхода от активной борьбы, когда нечего предложить им взамен, а здесь они могут помочь хотя бы самим себе. И все же, ощущая себя людьми, так не хочется потерять всякую надежду, уступить и отступить.

Остается еще одно: не только СССР, но и весь мир нуждается в распространении просвещения и просвещенности, это и впрямь единственная наша надежда. Ну, а если и это не поможет — что ж, мы будем знать, что сделали то, что смогли.

Посвящая Андрею Сахарову

Единственный урок истории состоит в том, что уроков у нее не берут. (Пересказ известной мысли Гегеля)

"Человек свободен только в той мере, в какой может обратить в свою пользу случайность, то есть непредрешенность и открытость исторического процесса".

(Юлий Марголин)

"Израиль не санаторий. Расстроенные нервы не лечит. Люди, приезжающие сюда в плохом настроении, рискуют найти много поводов для добавочных огорчений. Для людей, настроенных бодро, — это страна, где жить можно, жить стоит и где всегда найдется, что посмотреть и чем заняться".

(Юлий Марголин)

А. ЯКОБСОН

**ФРАГМЕНТЫ ИЗ МАРГОЛИНА****(Попытка реквиема)**

"Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино", — такими словами начинается рассказ одного еврея и классика русской — а заодно, и мировой — прозы XX-го столетия.

А меня — тоже еврея и, надеюсь, человека, который вправе считать себя русским литератором, — меня пленила когда-то и продолжает пленять прелестная и мудрая жизнь Юлия Марголина.

Общепринято, кажется, считать — и это справедливо — что еврейству свойственны противоположные характеры, полярные типы. Мы — народ крайностей. Тип мечтателя, созерцателя — и практика, дельца; причем, оба эти типа — в их предельном выражении. Ультраконсерваторы — и ниспровергатели всех основ. Крайние скептики — и величайшие догматики. Этот ряд противоположностей бесконечен. Даже особую какую-то неряшливость и вместе сугубую чистоплотность приписывают нашему племени.

Бытие, действительно, движется столкновением разнородностей (это открытие не марксизма, а марксизмом только

извращено). Но само бытие есть живое единство различных начал, их органический сплав. Встречаются люди (не слишком часто), в том числе, понятно, и евреи, обладающие особым даром жизни, а именно: ее полнотой. Другими словами, это — то проявление жизни, где ее естественное единство и цельность преобладают над ее же противоречиями. Это счастливый дар. Обладающие им люди — соль соли земной. Они, можно сказать, гармонические личности. Таким человеком был Юлий Марголин.

Гармоничность человеческих проявлений Марголина ни в коем случае не означает самоуспокоенности, равнопрохладного — хотя бы и равномудрого — ко всему отношения. Напротив. Это — страстная гармония.

Вот первая выписка из Марголина.

"С осени 1939 до лета 1946 года, без малого семь лет, прожил я в Советском Союзе.

Первый год — на территории оккупированной Польши. Там я был свидетелем советизации завоеванной страны. Я видел, как делается "плебисцит", как население приводится в состояние "энтузиазма" и "советского патриотизма".

Следующие пять лет я провел на советской каторге, в так называемых "исправительно-трудовых лагерях". Там я понял секрет устойчивости и силы советского строя.

Последний год, как вольный и легализованный советский гражданин, я провел в маленьком городке Алтайского края, принимая участие в серой, повседневной жизни советских людей.

Думаю, что имею право говорить и судить об этой стране. Толстой сказал, что "не знает, что такое государство, тот, кто не сидел в тюрьме". Этот анархистский афоризм, во всяком случае, справедлив по отношению к Советскому Союзу.

До осени 1939 года я занимал по отношению к СССР позицию "благожелательного нейтралитета". Это характерная позиция прогрессивной и радикальной европейской интеллигенции.

"Конечно, — говоришь себе, — для нас в Европе это не годится. Но все же это строй, который, по-видимому, соответствует желаниям русского народа. Их дело, их добрая воля. Для нас, европейцев, он имеет цену великого социального эксперимента..."

Это была моя позиция до 1939 года. Читая предвоенную эмигрантскую русскую прессу, я не мог отделаться от неприятного чувства и благославлял судьбу, что я свободен от узости и мелочности придирок и могу относиться к советской действительности с должным объективизмом.

...Все, что я видел там, наполнило меня ужасом и отвращением на всю жизнь. Каждый, кто был там и видел то, что я видел, поймет меня. Я считаю, что борьба с рабовладельческим, террористическим и бесчеловечным режимом, который там существует, составляет первую обязанность каждого честного человека во всем мире.

...Я пишу эти строки на палубе корабля, который несет меня к берегам отчизны. Мое возвращение к жизни — чудо, настоящее воскресение из мертвых. О чем может думать человек, вышедший из гроба, из преисподней? Синева Средиземного моря, яркий блеск солнца опьяняют меня, наполняют невыразимым счастьем. Следовало бы сосредоточиться, вернуться мыслью в прошлое и начать серьезный и систематический рассказ о нем. Но эта задача требует слишком много времени. Для того, чтобы собрать в одно целое, оформить опыт и материал этих лет, нужны долгие годы. А время не ждет. Есть вещи, которые должны быть сказаны немедленно, не откладывая ни на минуту. Я не могу позволить себе отложить их — не смею: это было бы преступлением по отношению к тем, кто говорит через меня, кто кричит через меня смертным криком отчаяния.

Я знаю, мои силы слишком слабы для этой задачи. Чтобы писать про советский ад, нужна сила Данте и Достоевского в соединении с полнотой диккенсовского реализма. Но судьба вложила в мои руки перо, и я до тех пор не положу его, пока не исчерпаю всего, что имею сказать. Литературных амбиций у меня нет. Мое дело — сказать правду, которую столько людей не смеют, не хотят, не умеют или просто боятся сказать. И я пишу с чувством человека, которому осталось только один день жизни — и в этот день ему надо успеть сказать самое неотложное, самое важное! — и как можно скорее, потому что завтра уже может быть поздно**.

Я вынужден кратко остановиться на биографии этого человека. Здесь имеет место одно странное обстоятельство. Почему израильтян (коренных или иных), а также вообще евреев (равно как и неевреев) нужно информировать на этот счет, причем информировать для начала хоть минимально? Надо ли сообщать людям нечто элементарное, первичное, необходимое — о человеке, который олицетворял собою красу и гордость современного человечества? Да, надо. Дело в том, что судьба Юлия Марголина — счастливейшая, между прочим, судьба — сложилась, в определенном отношении, трагически. Он разговаривал с нами, современниками, так, как мало кто в мире умел говорить. Вспоминаются строки

Мандельштама (поэта, горячо любимого Марголиным; см. "Брат мой Осип", Несобранное):

...Ты, могила

Не смей учить горбатого — молчи!

Я говорю за всех с такою силой,

Чтоб небо стало небом, чтобы губы

Потрескались, как розовая глина.

Это, конечно, всего лишь аналогия. Марголин не писал гениальных стихов. Тем не менее, голос его обладал громоподобной силой. А мы, современники, не умели слушать Марголина. И не научились толком до сих пор. Страшнее того. Мы — современники (а в Израиле — и соплеменники) — мешали ему говорить при жизни. А после смерти мало и вяло его печатаем...

Проходят в последние годы марголинские вечера. Собирается горстка советских евреев в отведенном зале. Перед этой аудиторией трогательно вспоминают бывшее почтенные старожилы, лично знавшие покойного. Выступают и новоприбывшие активисты из недавних, сравнительно, поклонников Юлия Борисовича Марголина. Но никакой — пусть самой искренней и гуманной — любительской словесностью память писателя не почтишь; ничем, кроме мысли, мыслителю не воздашь. В свое время любезные соотечественники замордовали Марголина, дружно блокируя его слово, искусственно изолируя от всех нерусскоязычных, то есть практически от народа, от страны. Теперь — достойные всяких похвал усилия издателей-энтузиастов (только где им денег-то взять, и когда же, когда, наконец, переведут на иврит хотя бы главные вещи Марголина?).

Перепишу предельно сжатую биографическую справку "Ю. Б. Марголин", что в конце его книги с горьким названием "Несобранное", книги, изданной Обществом по увековечению памяти д-ра Юлия Борисовича МАРГОЛИНА, — через четыре года после его смерти. Перепишу, питая в сердце свою живую благодарность к этому Обществу. (Тираж "Несобранного", как и вообще книг Ю. Марголина, невелик, и тебе, читатель, может пригодиться эта маленькая справка.)

* Юлий Марголин. "Дело Бергера". Несобранное.

- Юлий Борисович МАРГОЛИН родился 14 октября 1900 года в городе Пинске в семье врача.
- В 1925 году окончил Берлинский Университет со званием д-ра филологии.
- В 1926 году поселился с женой в г. Лодзи, где издал брошюру "Идея сионизма". Одновременно со службой ради заработка занимался журналистикой, литературным трудом. Ю.Б. Марголин был активен в сионистском движении, считал себя сторонником Вл. Жаботинского.
- В 1939 году семья Марголиных переехала в Израиль.
- В 1939 году, когда Ю. Б. Марголин приехал в Пинск навестить родителей, город оккупировали советские войска. Как "социально вредный элемент" и сионист Марголин был арестован и сослан в глубь Советской России.
- 1939-1946 г.г. — шесть лет в "стране ээка" — в тюрьмах, концлагерях, ссылке.
- В 1946 году Ю.Б. Марголин вернулся к семье в Израиль.
- В 1950 году Марголин выступил в качестве главного свидетеля на парижском процессе Давида Русса против коммунистического журнала "Леттр Франсэз". Этот процесс раскрыл истинную природу советских "трудовых лагерей".
- В 1951 году Марголин добился на Индийском Конгрессе деятелей культуры в Бомбее принятия резолюции против системы концлагерей вообще и в СССР в частности.
- В 1952 году опубликована книга Ю. Б. Марголина "Путешествие в страну ээка" (издательство им. Чехова, США), которая принесла автору известность далеко за пределами Израля.
- В 1958 году под псевдонимом Александр Галин была опубликована книга "Израиль — еврейское государство" (изд-во "Оманут", Тель-Авив).
- В 1960 году вышла в свет книга Марголина "Еврейская повесть" (изд-во "Мааян", Тель-Авив).
- В течение 60-х годов Марголиным были написаны и опубликованы на русском языке в Израиле, США, Франции сотни статей, очерков, этюдов.
- Юлий Борисович МАРГОЛИН скончался 21 января 1971 года в Тель-Авиве.

Актуальность его слова не была сиюминутностью — но глубиной; она была и своевременностью и дальновидностью вместе.

Дальше разговор построим так. Мы зададим Марголину вопросы о некоторых важных для нас вещах — а он ответит нам.

— Почему тоталитарно-идеологическая зараза — порождающая и питающая, в частности, террористов, наших убийц — распространяется с Востока на Запад? Какова там, на Западе, почва для нее? И как бороться с этой эпидемией?

"На Западе ею (названной идеологией. — А.Я.) пользуются лидеры компартий — в надежде, что она принесет такую же политическую пользу, как в России. И часть декадентской интеллигенции больших городов, беспочвенной и худосочной, тянется к ней, как к своему спасению, испуская этим вину своей болезненной и пустой сложности".

...На Западе я встретился с пренебрежительным, презрительным отношением к советской идеологии со стороны западных ученых. Они не видели в ней ничего заслуживающего внимания. Она для них была "Schein-ideologie".

...я старался объяснить им, что нельзя пренебрегать учением, которое в наши дни, волей или неволей, принимают всерьез сотни миллионов людей по обе стороны Железного Занавеса. Надо знать, как с ним бороться, надо уметь объяснить, в чем ложь и неправота этого учения***.

Проходит четверть века после того, как в 1951 году были сказаны Марголиным эти слова. И вот политзаключенный Герман Михайлович Ушаков, узник совести, в письме от 2-го апреля 1977 года к президенту США, называя, разумеется, свое имя и адрес: Концлагерь № 19 Мордовского управления, — пишет, среди прочего, следующее:

"Тоталитаризм должен постоянно изучаться, чтобы знать его сильные и слабые стороны, тенденции и интенсивность его развития, его внутренние и внешние резервы; знать его повадки и хитрости, чтобы за обманым движением не пропустить удар. Соседствуя с тоталитаризмом, демократия не должна усыплять свою бдительность. Тоталитаризм не допускает демократию у себя, но зато максимально использует ее за пределами своих границ с целью укрепления своих позиций".

Не правда ли, этот текст поразительно перекликается с давней, заветной марголинской мыслью? А что ж Запад — в

* Юлий Марголин. Д и а м а т. (Блистательная критика философских основ марксизма; написано в 1948 году — А.Я.).

**Там же.

целом? Именно в целом — со стороны его общественного мнения, его общих представлений об СССР и его политике, о России и жизни в этой стране?

Вот отрывок из, как говорится, свежего письма моего товарища; он москвич, израильтянин, физик, откомандированный из Реховота в Кембридж; пишет, стало быть, из Англии:

"Видел экзаменационные школьные тексты по русскому языку. Видать, в здешнем министерстве просвещения какой-то маньяк подвизается. Один текст — что-то вроде сказа про то, как мальчонка поддыхает с голоду, а сестричку его голодную соседка забила утюгом. Далее следует корявый стишок про войну, в конце там лирический герой выскребает чужую кровь из-под ногтей. И все в таком духе".

Глубоко символично, что вся картина предстает здесь, скажем так, в детском развороте (школьные экзамены по иностранному, русскому, языку). Это — заостренное, выпуклое отражение убого-инфантильных понятий взросло-го Запада о соответствующем предмете. Сейчас не касаюсь, понятно, западных людей, которые этот предмет знают отлично. (Пользуюсь случаем низко поклониться Роберту Конквесту, автору "Большого террора".) Но сколько их, таких людей, на Западе? Не исключения ли они из общего прискорбного правила? Учитесь же, господа, учитесь, — и в качестве одного из первых, одного из лучших учителей рекомендую Юлия Марголина.

Каково положение Израиля в современном мире?

"Демократия — больна отсутствием веры в свою историческую миссию. Трудно уважать людей, которые сегодня ею руководят, не чувствуя, что наше время требует радикальных решений и героической смелости. Принято все сваливать на массы, которые находятся в плену элементарных импульсов... как если бы это было извинением или объяснением бездарности их правителей".

На Востоке открытое зверство, а на Западе политический разврат и бездушие верхов***.

* Юлий Марголин. "Тель-Авивский блокнот". Несобранное.
** "Исторические дни". Там же.

В крошечном Израиле — на пути разбушевавшейся стихии — уцеле-ло живое сознание Демократии, ибо здесь люди готовы умирать за сво-боду и за то, что считают своим неотъемлемым правом. И не потому, что они лучше и моральнее других. Здесь просто нет другого выхода*.

И еще обратим внимание на один — особо рассмотренный Марголиным аспект этой проблемы.

"За последнее время распространяется в западной прессе версия об израильском "аннексионизме". В связи с этим стоит отметить два голоса израильских арабов.

...выступил в Тель-Авиве, в переполненном зале, вице-мэр Назаре-та, член Кнесета, Абдель Азиз Зуаби:

"Израильские арабы солидаризируются с позицией правительства — никакого отступления без мирного договора — считают Израиль своим отечеством и войну в июне — справедливой оборонительной войной. Евреи должны избегать двух крайностей: не должны отчаиваться в возможности достижения мира с арабскими государствами и противостоять искушению присоединения оккупированных арабских территорий. Война велась за сохранение того, что есть, а не за экспансию".

Второй же голос — б. члена Кнесета, видного арабского общест-венного деятеля в Хайфе Рустума Бастуни. Его статья в "Джеруза-лем Пост" настолько идет вразрез с лозунгами арабского национа-лизма, как он представляется его покровителям на Западе и Востоке, что стоит привести ее в обширных выдержках:

"Я не пытаюсь предсказать, как будет выглядеть Ближний Восток через сто лет, — говорит Рустум Бастуни, но я убежден, что Израиль, в результате долгих и трудных испытаний, удержится в нем. Однако, говорить сейчас об арабо-израильском примирении и сотрудни-честве значит верить в миф, в сон наяву, лишен-ный всяких оснований в реальности. Одна из при-чин этого — огромная разница в развитии между арабскими государст-вами и Израилем. Арабская социальная и экономическая структура, общее состояние несовместимы с современным динамическим поня-тием государственности. Пропаганда не заменяет куль-туры. Танки и машины, ввозимые из-за грани-цы, не означают индустриализации".

Попытки Израиля договориться с соседними арабскими государ-ствами потерпели неудачу...***

И на сегодняшний день это, к несчастью, так, но не забу-дем: Марголин иронизировал над теми, кто навеки убежден, что "мир все равно недостижим".

* "Тель-Авивский блокнот". Там же.

*** "О путях политики". Там же.

Кому быть евреем в Израиле, а кому не быть?

"Государство Израиль — государство не теократическое, а правовое.*

Государство Израиль вынуждено регистрировать национальность вследствие "Закона о репатриации", предоставляющего каждому еврею право репатрироваться в Израиль со всякими льготами и помощью при устройстве**.

...кого считать евреем в Израиле? Надо раз и навсегда решить этот вопрос, так как основной закон в Израиле открывает двери страны каждому еврею и автоматически представляет ему гражданство (если он сам от него не откажется). В Израиль за последнее время прибыли тысячи семей, где муж или жена — неевреи. Как записать их детей?

По сути дела различаются: еврейское вероисповедание (которое может принять и японец), израильское гражданство (которое имеют все национальные меньшинства) и нечто третье — еврейская национальность или народность, понятие, не совпадающее ни с религиозными убеждениями, ни с государственной принадлежностью. Это последнее понятие исторически-духовного порядка: еврей, будь он неверующий или житель Патагонии — принадлежит к еврейскому народу в силу своего соучастия в его жизни и живой связи с его прошлым, настоящим и будущим. В этом смысле нельзя "записаться" в евреи, как нельзя "записаться" в грузины или французы. Это процесс самой жизни, а не отметки в паспорте.

Какое, однако, дело до "исторически-духовного процесса" чиновнику, заполняющему графу о национальности в документе нового иммигранта? Его, говоря философски, не касается "ratio essendi", ему нужно указать точно "ratio cognoscendi", формальное основание для записи данного лица евреем.

Выход из этой путаницы прост, если отделить церковь от государства и изъять "национальность" из компетенции тех, кто в наше время не имеет ни права, ни возможности распоряжаться. Весь смысл сионистской революции и еврейской жизни в том именно и заключается, что "народ" перестал уместаться в границы "религиозной общины". Если бы этого не случилось, то не было бы и государства Израиль, светского государства. В Израиле впервые становится возможным то, что невозможно больше нигде в мире: можно остаться евреем по национальности, приняв христианство (такие случаи крайне редки и мне лично хорошо известны: евангелист-еврей в Петах-Тикве, всю жизнь отдавший родной земле, не худший еврей, чем ханжа в Бруклине, оплевывающий "безбожный" Израиль). Но здесь именно и начинается царство религиозного фанатизма, политической спекуляции и откровенной чепухи, доходящей до сюрреалистических размеров***.

*"Дети капитана Шалита". Там же.

**Там же.

***Тель-Авивский блокнот". Там же.

Выходит, архиепископ Иоанн Сан-Францисский (см. его "Существует ли в Израиле свобода совести?", "Время и мы" № 26) в своих упреках по нашему адресу в чем-то вроде бы и прав... Но архиепископ смеет обвинять государство Израиль в расизме.

Он, видите ли, не отличает расизма — дискриминации по крови — от религиозно-правовых ущемлений (которые, действительно, еще, к сожалению, не избыты в Израиле).

Он поддерживает косвенно (да и не слишком косвенно!) резолюцию ООН, что сионизм есть разновидность расизма. Сам же о. Иоанн благоговейно ссылается на свой давний диалог с "незабвенным Ю. Марголиным". Так послушаем же на этот счет его самого, воистину незабвенного Юлия Борисовича:

"...надо отвести поклеп насчет "расизма" в Израиле. Оставим вранье советской пропаганде"*.

Как видим, названный выше поклеп — отнюдь не монополия советской пропаганды.

Итак, Марголин — за свободу совести, за отделение церкви от государства. Следует строго различать клерикализм, тенденцию к теократии либо антиклерикализм, стремление к секулярной (светской) государственности — и отношение человека к той или иной религии. Ярый антиклерикал — славная традиция Зеева Жаботинского! — он, Марголин, умеющий так понимать духовно-исторические основания культуры европейской, — он ли не дорожил наследием отцов, религиозным сознанием своего народа? Еще как дорожил — независимо от того, было ли это мирозозерцание (а если было, то в какой мере) его личным жизнеощущением, его самосознанием.

"...не Библия родилась на земле Израиля в такое-то и такое-то время как выражение чаяний и самоутверждения народа, а народ и земли Израиля в Библии, то есть в слове Божиим, родились, им созданы и без него — ничто.

И когда видел свой сон в Бейт-Эле праотец Иаков о лестнице между небом и землей, по которой сходили ангелы, то вся земля израильская (учат мудрецы) сжалась в пространство, на котором он лежал во

* "Дети капитана Шалита". Там же.

сне, занимая его своим телом. От ног до головы — от Нила до Ефрата — покоился праотец Иаков, и Бог сказал ему: "Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему". И если бы не это, были бы евреи чужими в Тель-Авиве и Иерусалиме, как они доселе чужие во всем остальном мире. Так верит каждый религиозный еврей..."*

В чем суть проблемы: Израиль, международная политика и русская алия?

"...В Советском Союзе существует огромный резервуар от двух до трех миллионов евреев, ждущих г е у л а — освобождения... Эти евреи ненавидят режим и боятся его точно так же, как и другие народы за железным занавесом. Восстановление Мединат Исраэль дало им надежду, от которой они откажутся, только если мы здесь откажемся от них. Только один лагерь должен бояться этих евреев: израильские коммунисты, так как массовая алия из России в состоянии радикально подорвать их позицию в нашей стране и положить конец культуре Советского Союза. Каждый еврей, который прошел опыт советской действительности, иммунизирован против коммунизма навеки. И если есть исключения — нечего их бояться. Массовая алия из России в подавляющем большинстве будет антикоммунистической**".

Что случится, если Москва откроет ворота для массовой алии?.. будут трудности абсорбции не только в экономическом, но и в духовном смысле... русские евреи знают, что такое коммунизм, но они не знают, что такое западная демократия.

Есть русская поговорка: "Волков бояться — в лес не ходить". Еврейский народ окружен волками и не может от них спрятаться. Если треть нашего народа находится во власти волков, надо быть готовым, чтобы вырвать его из волчьих зубов, несмотря на все раны и увечья.

Здесь происходит испытание двух секторов нашей израильской общности: как социалистов, так и националистов. Часть наших социалистов приносит в жертву русское еврейство на алтарь того, что им кажется "социальной революцией". Их кумир нуждается в кровавых еврейских жертвах. Часть наших националистов не задумывается принести русское еврейство в жертву интересам израильской политики "только родина". Между человеком левой (ориентации. — А.Я.), верящим, что русское еврейство "счастливо", и человеком правой, лицемерно вздыхающим, что оно "все равно потеряно" — нет по су-

* "Тель-Авивский блокнот". Там же.

** "Надо ли бояться русских евреев?" Там же.

ществу разницы. Однако достаточно крупницы национального чувства, чтобы найти правильную дорогу*.

В Советском Союзе отлично понимают, какое политическое влияние окажет малейшая уступка сионистам на миллионы русских евреев. Какое брожение она вызовет. Какие надежды оживит, как поддержит волю к сопротивлению режиму насильственной ассимиляции...

Мы знаем, что существует объективное и неустраняемое противоречие между сионизмом и коммунизмом. Но мы знаем также, что коммунизм находится в состоянии отступления. Рано или поздно он вынужден будет искать компромисс с Западом. Это наш шанс. Мы не ждем милостей от коммунизма, но мы предвидим, что неизбежное ослабление режима принесет, в конце концов, свободу русскому еврейству.

Проблема Русского Еврейства — политическая проблема. В 1946 году, в мою бытность ссыльным в Сибири, я получал посылки из Тель-Авива, которые помогали мне продержаться. Но эти посылки не спасли бы меня от нового водворения в лагерь, если бы не два политических акта: соглашение польского правительства с Москвой о репатриации его бывших граждан и согласие польского правительства на мое возвращение в Эрец-Исраэль***.

Мы хорошо знаем, сколько тысячелетий нашему народу, но государству-то всего тридцать лет; культурные корни древа — библейские — сильны и глубоки, но само деревце (в современном социально-культурном смысле) молодо — а достаточно ли зелено? Одними ли древними соками дереву жить и расти? Или бесполезны ему европейские культурные прививки, а русская — особо?

"Довольно трех слов: "урну с водой уронив...", чтобы почувствовать музыку пушкинского стиха. Довольно одной строки Мандельштама "На каменных отрогах Пиерии", чтобы восторгнуться и насторожиться, и хоть вам, может быть, не ясно, какая такая Пиерия, это и неважно: там, именно там, водили музы первый хоровод...

Случилось чудо, и сын косноязычного потомка очень древней культуры, которая, казалось, вся иссохла и обратилась в камень, принес русскую литературу волшебную скрипку Амати и Гварнери. Может быть, и надо было для этого прийти издали, со стороны, чтобы полюбить стихию русской речи всей свежестью новообращенной души и выколдовать из нее свою особенную мелодию. Так нужен был Гейне, чтобы зазвучал немецкий язык небывало острой тональностью. Так

*Там же.

** Израильский Пен-клуб в замешательстве. Там же.

сияют "Польские цветы" Тувима особенной изощренностью и красочностью польской речи. У Мандельштама "стихов виноградное мясо", звучащая и говорящая плоть языка... Мандельштам, поэт чувствительного восприятия и детского своеволия, сохранил дореволюционную насыщенность гуманизмом Запада. Он начал с того, что "природа — тот же Рим", и прошел, последовательно, от Эллады до Армении. В русской поэзии это установившаяся традиция с пушкинских времен.

И у Блока сказано:

Мы помним все — парижских улиц ад,

И венецианские прохлады,

Лимонных роц далекий аромат,

И Кельна дымные громады...

Такая любовь характерна не для варварских "скифов", а для культуры молодой и жадной до познания мира. В Советском Союзе ее задушили, заменили самолюбованием. Но у Мандельштама это странствие музы — не что иное, как поиски дома бездомным поэтом... Потерявшему дом весь мир должен стать домом**

Это о благотворности культурных прививок, скрещений и переплетений — вообще; о здоровом влиянии на любую национальную культуру (особенно на "молодую и жадную до познания мира") культурного синтеза — в принципе.

Что же касается вклада русской культуры в израильскую (имею в виду прошлое, сегодняшний день и желаемое будущее) — здесь обойдемся без цитат и не станем приводить примеры (хотя их сколько угодно), кроме одного достаточно убедительного примера: вся культурная деятельность Юлия Марголина. Блестящий знаток иврита и языков европейских, он, Юлий Борисович, писал по-русски. И, оставаясь с собою наедине, думал, полагаю, тоже по-русски (полагаю не без оснований: просто имею представление о том, что такое язык в о е с о з н а н и е писателя). И ответственные из публичных выступлений Марголина были произнесены по-русски.

"В час дня 5-ое заседание суда (9.12.50) началось сильной речью Руссэ, который требовал, чтобы дали говорить его свидетелям. После него была моя очередь. Справа от меня сидели Руссэ и его адвокаты. Слева, почти рядом — Дэкс, Вьеннэ и Нордман. Дэкс, небольшого роста, с причешкой ежиком, выглядел, как молодой студентик, но его адвокаты в черных тогах и белых жабо имели вид весьма торжествен-

* "Брат мой Осип". Там же.

ный. Я, несмотря на мои пять лет каторги, был первый раз в жизни на суде. В ту минуту я чувствовал себя не свидетелем, а обвинителем. Я говорил по-русски..." ("Парижский отчет").

"О негодяях" и "Парижский отчет" — два несравненных очерка Марголина, а фактически — один (1951 г.). Прочтите это целиком, люди, а кто читал — перечтите вновь. А я приведу выдержки оттуда — из выступлений самого Марголина. Это не будет отклонением от нашего вопроса. Проблема культуры есть также проблема совести и чести. И гражданского мужества. И правды. (Напомню, что в русском языке слово правда чудесным образом совмещает в себе два, казалось бы, совсем разных значения: это реальность, то, что есть на самом деле, — и одновременно душевная справедливость; в этом смысле правда — синоним совести.)

Предварительно — одна необходимая справка. Марголин был вызван свидетелем на процесс Давида Руссэ против коммунистического журнала "Леттр Франсэз", проходивший в Париже с 25 ноября 1950 по 6 января 1951 года. "Давиду Руссэ было в 1950 году 38 лет. Этот покусившийся на Голиафа Давид — нееврей. В 1939 году он был активным антифашистом. Во время оккупации Франции участвовал в подпольном движении.

Давид Руссэ посвятил себя борьбе с системой концлагерей. По его словам, там, где существуют лагеря, каковы бы ни были экономические и политические условия в данной стране, — нет будущего для человека.

Летом 1949 года английское правительство опубликовало советский Кодекс исправительного труда. Эта публикация и ряд книг о советских лагерях, которые появились в последнее время, убедили Руссэ в том, что "концентрационный мир", уничтоженный в Германии, продолжает существовать в СССР**.

"Усилия Давида Руссэ с его "Интернациональной Комиссией по борьбе с концентрационными лагерями" (не только в СССР), усилия Американской Федерации Труда, в свое время возбудившей вопрос о рабских лагерях в Экономическом

* "Парижский отчет". Там же.

Социальном Совете ООН, протесты мирового общественного мнения в конце концов возымели свое действие. В какой мере, еще неизвестно, но что-то с места тронулось и монолитный фронт негодяев дал трещину**.

Теперь — из речи Марголина.

— Я хочу говорить о себе как можно меньше. Ни то, что я писал на разные темы, ни мои личные переживания не могут интересовать трибунал. Пять лет, которые я провел в советских лагерях, дают мне возможность рассказать о них суду. В какой мере вы используете эту возможность — зависит от вас. Я стою перед лицом французского правосудия, готовый исполнить свой долг.

Я исполняю свой долг перед миллионами советских заключенных, которые лишены права голоса и не могут сами свидетельствовать о себе, которые даже не подозревают о героической попытке Руссэ прийти им на помощь.

Я исполняю свой долг по отношению к моему товарищу Давиду Руссэ, который первый имел мужество поднять свой голос в защиту миллионов несчастных и за это подвергся незаслуженным нападениям и оскорблениям.

Г-н Руссэ обвинен в том, что он фальсифицировал две вещи: параграфы советского права и факты лагерной действительности. Что касается первого обвинения, то это дело юристов. Я не буду вмешиваться в спор юристов.

Годы, проведенные в Советском Союзе, научили меня, что тексты советских законов не имеют ничего общего с советской действительностью, или точнее: советское право относится к действительности, как белая перчатка палача к его окровавленной руке. Советское право — ширма для преступлений. Мы, заключенные в лагерях, не интересовались тем, какую перчатку носит рука, которая нас душила. Но руку на горле, руку палача, мы чувствовали хорошо.

Г-н Руссэ обвинен в том, что он построил свой аппель 12 ноября 1949 года на выдумках лиц, не заслуживающих доверия, на "вульгарных транспозициях" из литературы о гитлеровских лагерях. Это обвинение касается меня в первую очередь. В числе документов, на которые опирался Руссэ, когда писал свой аппель, была и моя книга ("Путешествие в страну зэка". — А.Я.)

Если то, что я писал в ней, — неправда, то я виноват в том, что ввел Руссэ в заблуждение. Но если то, что я писал, является правдой, то у вас нет другого выбора, как признать этого человека — и тут я показал на Пьера Дэкса (Дэкс — шеф-редактор коммунистического журнала "Леттр Франсэз". — А.Я.) — диффаматором и клеветником.

Я еврей. На улицах Тель-Авива статья г-на Дэкса против Руссэ продалась в виде отдельной брошюры под названием "Почему Д.Руссэ

выдумал концлагеря в СССР". Это — чудовищно! Ни г-н Руссэ, ни я не выдумали лагерей. Мои волосы поседели в лагерях. Может ли кто-нибудь утверждать, что г-н Руссэ выдумал также и мои седые волосы?

Я могу повторить о себе слова великого польского поэта: "Имя мое миллион". Я разделил судьбу и страдания миллионов. Для десятков тысяч, которые спаслись из лагерей Сталина и находятся в Европе, нет вопроса о честности и правдивости Руссэ**

И еще:

— Известно ли свидетелю, — начал Нордман (Нордман — один из адвокатов Дэкса. — А.Я.) с иронической миной, — что на свете происходила война... большая война... с Гитлером?.. Гитлер убил 6 миллионов евреев, и я считаю неуместным, чтобы еврей выступал против государства, которое спасло евреев.

На это я ответил:

— Цифра еврейских потерь в войне, согласно таблице известного еврейского статистика Я. Лещинского, составляет шесть миллионов девяносто три тысячи человек, но будет ошибкой считать, что евреи погибали только по вине Гитлера. Около полумиллиона евреев погибло в советских лагерях и местах ссылки. Гитлер пролил достаточно еврейской крови, и нет надобности подбрасывать ему жертвы Сталина.

Раздались возгласы, и я прибавил:

— В лагерях находятся сотни моих друзей, и я не только имею право, но и обязан протестовать против того, что с ними делают. Советские заключенные имеют право жаловаться в Москву, а г-н Нордман хочет отнять право протеста у жертв НКВД? Вы, г-н Нордман, более сталинист, чем сам Сталин!

Дэкс задал мне вопрос, хочу ли я новой мировой войны. Я ответил:

— Я надеюсь, что никто из нас не хочет войны. За себя я уверен, но в вас, г-н Дэкс, не совсем уверен. Мы хотим не войны, а мобилизации мирового общественного мнения против ужаса лагерей в России***.

Наконец — последнее на эту тему:

"...те лагеря, где я оставил лучшие годы своей жизни, по-прежнему забыты народом, и на тех самых нарах, где я лежал, остался лежать мой товарищ. За время своего существования советские лагеря поглотили больше жертв, чем все гитлеровские и негитлеровские лагеря, взятые вместе, и эта машина смерти продолжает работать полным ходом.

Людей, которые в ответ на это пожимают плечами и отговариваются ничего не значащими словами, я считаю моральными соучастниками преступления и пособниками бандитов****.

Юлий Марголин до смерти не забывал этого. Самоотверженность такого рода глубоко коренится в традициях рус-

* "Парижский отчет". Там же.

** Там же.

*** "Дело Бергрера". Там же.

* "О негодяях". Там же.

ской культуры. И в традициях культуры еврейской. Вот, собственно, то драгоценнейшее, что я хотел бы видеть в израильской культуре.

В любом народе, в каждой национальной жизни (как в природе вообще) идет непрерывно внутренняя борьба многих разнонаправленных сил. Рассмотрим одно явление такого рода, существенное для нас по ходу разговора. Некий антагонизм — фатальный и вечный.

У всякого народа есть своя аристократия духа — единственно подлинная аристократия; и единственно народная.

Духовному аристократизму непременно противоборствует определенное специфически-хамское начало. Каждый народ имеет, к несчастью, свое быдло. И оно национально по духу своему, по запаху.

Аристократизм включает в себе благородство, то есть лучшие черты данного народа и потому словосочетание демократический аристократизм — парадоксально только с внешней, формальной стороны, а по существу в соединении этих понятий — большой, истинный смысл. Отмечу, что благородно-демократическая традиция в иудаизме, безусловно, фундаментальна: "Люби труд и ненавидь барство" (Талмуд. Поучения отцов, гл. 1,10).

Итак, быдло бывает всякое. Американское, германское, российское, польское и так далее. И, ясное дело, существует наше родимое, егупецкое, условно говоря, быдло; этому предмету, например, посвящена замечательная статья Михаила Ледера "Чепуха, которую безумцы болтают языком, не подумав мозгами" (цитата из Шекспира) — о г-же Майе Каганской — смотри в альманахе "22".

Местечковость, как известно, гнездится не в местечках, а в сердце людей. Я знаю патрициев из Жмеринки и Бердичева — и плебеев из Парижа и Петербурга. Город Пинск, подаривший нам Марголина, заслуживает такой же славы, как Витебск, породивший Шагала.

Демократический аристократизм Юлия Марголина — наше лучшее оружие в борьбе с помянутой выше хамской стихией.

В очерке Б. Парамонова "Орвелл: пророчество-репортаж" ("Время и мы" № 26) читаем: "Орвелл был бы идеальным

политиком для Запада в эпоху противостояния его коммунизму". Очень интересная мысль. Поистине великолепен Орвелл с его прицельно-саркастическим зрением, с его непременно скорбными откровениями, с монументальным историческим скептицизмом. С построениями Орвелла перекликается формула Кестлера: "человек — ошибка эволюции". Порой с этим трудно не согласиться. Но иногда хочется все же поспорить несколько с этой самой эволюцией, немного исправить — хоть в собственном лице — ее (увы, весьма вероятную!) ошибку. И вдруг начинаешь уповать на неокончательную отпетость людской породы, на какое-то ее лучшее будущее... И тогда обращаешься, скажем, к Марголину — с его непоколебимой верой в человека. "Давид Руссэ выполнил заповедь: в месте, где нет человека, — будь ты человеком"* . Тут Марголин отсылает нас к знаменитым словам Гилеля (Талмуд. Поучения отцов, гл. 11, 5): "Там, где нет людей, постарайся быть человеком".

* "Парижский отчет". Там же.

Предлагаемое вниманию читателей письмо-памфлет Владимира Гусарова "В защиту Фаддея Булгарина" пришло в редакцию по каналу Самиздата. И хотя многие факты, приводимые автором, относятся к области прошлого, сам характер литературной жизни в СССР, так едко осмеянный автором, вряд ли изменился. И в этом смысле памфлет Гусарова остается таким же актуальным, каким он был несколько лет назад.

В. ГУСАРОВ

В ЗАЩИТУ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА

Письмо-памфлет

В первой половине ноября 69-го года, сразу после выхода очередной "Литературки" (кто помнит это время, тот меня поймет), я написал письмо, адресованное в Союз писателей РСФСР, где посмел высказать свое искреннее убеждение в том, что Фаддей Булгарин был не только популярным писателем и почтенным человеком, но, в некотором смысле, и образцом порядочности, и что только очередной миф, которых, увы, так много и в наши дни, связывает его имя с позорными явлениями предательства и подлости.

Спустя два месяца я получил ответ в конверте с бланком Союза и его московского отделения, из которого, между прочим, узнал, что отчество моего подзащитного — Венедиктович. Привожу ответ полностью:

"Уважаемый Виктор Николаевич!

Вы совершенно правы в одном: Фаддей Венедиктович Булгарин был в свое время очень популярным писателем. Но это само по себе еще ни о чем не говорит, ибо в свое время такие писатели — современники Пушкина, — как Марлинский, Бенедиктов, Кукольник затмили своей известностью славу величайшего поэта России. В крат-

ком письме невозможно выяснить спорный вопрос о законах популярности. Но во всяком случае невозможно рассматривать широкую известность как доказательство значительности того или иного человека. К примеру, Герострат.

Вы, безусловно, ошибаетесь, называя Ф.В. Булгарина "тонким ценителем искусств", Ф.В. Булгарин встречал в штыки большинство лучших, зрелых творений Пушкина, Лермонтова и Гоголя — творений, которыми гордится наш народ, творений, вошедших в сокровищницу мировой культуры.

И последнее: какое содержание Вы вкладываете в понятие "почтенный человек"? У Ф.В. Булгарина без сомнения были свои заслуги. В ранний период своей деятельности он, например, был связан с Грибоедовым, в конце жизни он издал небезынтересные воспоминания. Но в то же время этот необычайно активный литератор вошел в историю как человек болезненно завистливый и беспринципный. Он не останавливается ни перед чем, стремясь занять в обществе и литературе то место, на которое не имел никаких прав. Ради этого он шел на все — вплоть до доносов в жандармерию на своих "соперников". И история вынесла свой нелюбезный приговор.

Думаем, что Вам — несмотря на самые тщательные разыскания — никак не удастся опровергнуть этот приговор, скрепленный эпиграммами Пушкина, памфлетами Белинского, общественным мнением.

января 70 г.

С уважением Э. Хайтина".

Получив это письмо, я не мог оставить его без ответа, еще более уверенный в своей правоте и с еще большим сознанием того, что в литературе, как и в общественной жизни нашей страны, давно существует некий снобистский взгляд на литературу и искусство.

Вначале мне хотелось бы остановиться на некоторых положениях, выдвинутых моим уважаемым оппонентом.

Товарищ Хайтина пишет: "...в кратком письме невозможно выяснить спорный вопрос о законах популярности. Но во всяком случае невозможно рассматривать широкую известность как доказательство значительности того или иного человека. К примеру, Герострат..."

Разве это положение литератора-марксиста? Разве тов. Хайтина не обязана в каждой своей написанной строчке руководствоваться марксистско-ленинской теорией отражения? А пользуясь этой теорией, мы получаем совершенно иной ответ: всякое явление, получившее широкую огласку, или

направление, или известность — есть отражение жизни общества. Поэтому, по сексуальной литературе Запада, не имеющей никакого отношения к высшей литературе, мы делаем вывод о глубоком разложении и загнивании капиталистического общества, по убогим военным романам ФРГ — о реваншизме нацистов, а по агиткам китайской псевдолитературы — о демагогическом характере китайской пропагандистской машины. Так что сам факт популярности Фаддея Венедиктовича, мне кажется, является краеугольным камнем исследования, чего критик не желает замечать, следуя своей нигилистической концепции.

Далее: "...Вы, безусловно, ошибаетесь, называя Ф.В. Булгарина "тонким ценителем искусств", Ф.В. Булгарин встречал в штыки большинство лучших, зрелых творений Пушкина, Гоголя и Лермонтова — творений, которыми гордится наш народ, творений, вошедших в сокровищницу мировой культуры...".

Тут мне хочется обратить внимание критика на один момент, для меня очень важный. Так называемые лучшие произведения перечисленных авторов — это неподцензурные писания, распространявшиеся в списках. Я сейчас не останавливаюсь на том пункте, что было в этих писаниях художественной или исторической правдой. Важно, что это была неподцензурная литература. И Фаддей Венедиктович, как патриот и писатель, не мог не выступить против них. В дальнейшем история показала, что прав был все-таки Пушкин и Лермонтов, но это говорит о некоторой исторической ограниченности Фаддея Венедиктовича, но ни в коем случае о его злобности и подлости. Это, как говорится, беда его, а не вина. К тому же вышеперечисленные Вами авторы обладали такими жуткими пороками как личности, как члены общества, что это просто не могло не отвратить от них совестливого человека; ну, сами посудите, может ли что-нибудь путное написать развратник Пушкин, бреттер Лермонтов, или некрофил Гоголь? А Вы пишете о "завистливости и беспринципности" Фаддея Венедиктовича. Вот уж поистине валить с больной головы на здоровую! Больше ли принципиальности у Пушкина А. С.,

который пишет пасквильные стихи на царя — "Ура в Россию скачет", а потом в адрес этого же царя восклицает: "Он взял Париж, он основал лицей", да еще пишет "Боже, царя храни!" А не больше ли завистливости у Гоголя Н.В., который в тридцать четыре года считал себя патриархом русской литературы, патриархом, который бежал из России в солнечный Рим и писал там свои "Мертвые души"?

Вопрос о доносах, как основное обвинение Фаддею Венедиктовичу, я попытаюсь разрешить несколько ниже. И там же коснусь темы нелицеприятного приговора истории.

А теперь простите меня за некоторое историческое отступление, ибо мы не можем рассматривать писателя в отрыве от его исторической среды. Итак, Фаддей Венедиктович Булгарин и его время.

Вспомните то сложное и ответственное время! Россия мучается и развивается в сложнейших условиях непрекращающейся борьбы с внешними и внутренними врагами. Она, то есть Россия, ведет непрекращающиеся войны за необходимые государству территории, имеет пестрый национальный и классовый состав, обширные, большей частью совершенно неосвоенные территории, испытывает экономические и социальные затруднения.

Совершенно ясно, что в этих условиях священной задачей писателя-патриота является содействие патриотическому воспитанию масс, осознание им задач большой государственной важности.

И здесь я хочу коснуться того, что для меня является наиболее важным, и чего Вы, как мне кажется, не учитываете. Я имею в виду основное противоречие между писателем и патриотизмом. Ведь в самом деле, все величайшие гении человечества критиковали с совершенно разных позиций, это в данном случае неважно, существующий строй. Гомер критикует появление государства с точки зрения распадающегося рода, то есть осуществляет критику справа: то же самое можно сказать о Шекспире, Бальзаке, Бунине и т.д. Слева осуществляли свою критику Горький и его школа.

В списки лучших наших писателей сейчас включены и Пастернак, и Цветаева, и Ахматова, и Булгаков, и Платонов, и Бабель, и много, много подобных, и все они, все без исключения, не были певцами нашего строя, нашего режима, допускали грубейшие ошибки, становясь на грань духовной контрреволюции, а в отдельных случаях, как например, Марина Цветаева и ее творчество, напрямую переходили к апологии белого движения.

Есть, конечно, Маяковский, но своим антисоветским актом самоубийства он как бы вычеркнул то полезное, что нес своим жизнеутверждающим творчеством.

Поэтому для меня, гражданина и патриота, гораздо большей ценностью обладает творчество Ф. Гладкова, А. Безыменского, Д. Бедного, А. Прокофьева, В. Кочетова — людей, пусть и малоодаренных, а иногда и вовсе бездарных, но зато твердых и целеустремленных в пропаганде нужных нам идей и настроений. С этой точки зрения, проводя прямую связь между Фаддеем Венедиктовичем и Всеволодом Кочетовым, я постараюсь ниже дать беглый анализ его последнего романа "Чего же ты хочешь?"

Возвращаюсь к теме. Итак, есть гениальность, действующая разлагающе, и бездарность, служащая ежедневному делу воспитания подрастающего поколения. С точки зрения истории — правы гении; с точки зрения сегодняшней борьбы — нам более нужны последние. Это противоречие, и не нам с Вами его решать. Очевидно, так есть и так будет. Но мы с Вами можем дать себе отчет в этом процессе и, как можно сдержаннее относясь к людям, которые, по вашим словам, обогатили "мировую культуру", всемерно помогать труженикам литературы и культурной атмосферы. Мне не известно: кто больше заслужил уважение христианства: Христос ли, отдавший себя на растерзание, или Иуда, спровоцировавший Его на это.

Вот еще одна тема для размышления. Почитайте письма Пушкина и Гоголя, перечитайте их произведения. Сколько Вы найдете там ненависти к России, мотивов бегства из нее. Или Герцен, покинувший ее навсегда и печатавший свои про-

изведения в чужой стране, а именно: в Англии, в Лондоне. Да, теперь мы признаем его нашей национальной гордостью, но тогда-то, тогда... Кем он был тогда для русских? Предателем и отщепенцем. И многие люди могли задать себе вопрос: а на какие средства он печатает свой "Колокол"? Кто за этим стоит, и кому он нужен? Ведь Англия была постоянным врагом России, Англия плела интриги у ее священных границ, и объективно разлагающее влияние проповедей Герцена и Огарева действовало на замыслы английского империализма и его передового отряда — Интеллидженс сервис.

Государство не может не ограждать себя от подобных явлений, в этом его право и его сила, не пользоваться которой в условиях, когда "мы живем, зажатые железной клятвой", самоубийство. Возьмем пример из современной нам с Вами литературной и общественной борьбы. Мы критикуем стихи Вознесенского, подвергаем остракизму Солженицына и изолируем от общества писателей типа Синявского и Даниэля. Но можем ли мы поступать иначе? Разберем коротко три типа нашей мужественной, изобилующей трудностями борьбы.

Критика Вознесенского. Возможно, он, как и все иные нынешние авторы, будет в отдаленном будущем признан и гением, и совестью, и т.д. Я этого не знаю и знать, честно сказать, не желаю. Я живу сейчас, и меня беспокоит то, что сейчас слышат мои соотечественники из уст этих литераторов. А слышат они проповедь индивидуализма, призывы к абстрактному гуманизму, видят "треугольные груши" и другие несъедобные продукты. Этому автору, например, не нравятся наши денежные знаки с изображением В.И. Ленина, отсюда сам собой напрашивается вывод, что ему и наш герб не нравится, и наше знамя, и вся наша жизнь не нравится. И можем ли мы в наших государственных издательствах, на народные деньги, печатать эти искаженные, если не сказать резче, представления?!

Или Солженицын. Поднявшийся на мутной волне антиста- линизма и возомнивший себя пророком, этот писатель, пользуясь своим даром потрясающей пластики и глубинной психологией, которые, кстати сказать, и не являются его лич-

ным достоянием, а, как говорится, получены им от Бога, чернит нашу действительность. Вы можете возразить мне, что действительность критиковалась и Пушкиным, и Гоголем, и Лермонтовым, не считая уж Салтыкова, писавшего под псевдонимом Щедрин, и Чернышевским и т.д. Вы можете далее возразить, что рано или поздно их произведения печатались как в журналах, так и отдельными изданиями, что даже выходили многотомные собрания сочинений. Ну что ж, я готов выслушать это от Вас и возразить, что государство прибегало к цензурным сокращениям, ограничивало тираж и время от времени ссылало данных писателей в их родовые имения. Пусть произведения А.И. Солженицына тоже когда-нибудь будут напечатаны, пусть, возможно, мы пойдем на такую жертву, но не сейчас, когда идет ожесточенная идеологическая борьба и когда совершенно ясно, что кто не с нами, тот против нас.

Теперь, я надеюсь, Вам ясна моя позиция, теперь, надеюсь, Вам понятно, почему Булгарин Фаддей Венедиктович для меня образец гражданина и, как образец, дает больше материалов для размышления, чем высокохудожественное, но, к сожалению, малогражданственное творчество Гоголя, Пушкина и им подобных.

Вы, надеюсь, помните поведение двух известных писателей России во время польского восстания. Тургенев тогда дал золотой на подавление бунта, а Герцен обозвал его за это "седовласой Магдалиной мужского пола". В связи с событиями недавнего прошлого я спрашиваю: с кем вы, мастера литературы?

Очень легко и красиво выступать во имя принципов неправильно понятого гуманизма, гораздо труднее сцепить зубы и, выслушивая упрёки и издевательства, делать свое трудное дело, всю меру которого оценят только потомки.

Да, мы не забываем наследие классиков, и было бы смешно думать так. Мы свято чтим следующие стихи Пушкина: "От финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая, стальной щетиною сверкая не встанет Русская земля?!"

Или стихотворение Лермонтова "Бородино", ставшее народной песней, распеваемое белогвардейцами во время гражданской войны, а сейчас исполняемое капеллой мальчиков при русском народном хоре п/у Свешникова. Да, не только в каждой культуре общества живут две культуры — демократическая и антидемократическая, но и в каждом классике живут два классика — мы принимаем Пушкина, автора "Боже, царя храни, славному долги дни дай на земли..." и М.Ю. Лермонтова, солдата кавказской армии освобождения местного населения от ужасов родовых пережитков и возможного турецкого нашествия. Так же и Гоголь Н.В. Со школьной скамьи мы осуждаем этого автора, сжегшего рукопись второго тома "Мертвых душ". А не был ли этот акт актом высочайшего гражданского самоотречения, не был ли этот акт актом мужественности и настоящего подвига? Вот за это мы считаем возможным не отторгать себя от данного вопроса, правда, с известными оговорками, суть которых заключается в том, что то действие, которое он произвел в отношении второго тома, он мог бы с успехом произвести и с томом первым своего незабвенного романа.

Мы за литературу ясную и понятную для большинства народа, за литературу, служащую его интересам. То есть за литературу реалистическую. А не в "Петербургских ли повестях" Гоголя черпали вдохновение авторы разных "Собачьих сердец", не с "Носа" ли начались всякие Ионеско и Беккеты (последний, кстати, получил недавно дурно пахнущую со времен Пастернака Нобелевскую премию)?

Да, я за внимательный пересмотр классического наследия, за его пересмотр, коротко говоря, в учебных программах. Ибо нельзя осуждать Кузнецова, нельзя обвинить Солженицына, не заклеив Достоевского. Я понимаю, что это тяжело, но что может быть тяжелее зрелища ревизионизма и нигилизма молодежи и не только ее на современном этапе? В конечном счете лучше использовать китайские методы уничтожения мрази, как это делает положительный герой последнего романа Ананьева "Межа", чем ждать, когда нас захлестнет грязная волна западного индивидуализма.

Теперь я вплотную подошел к проблеме доноса, который, на мой взгляд, является вторым центральным моментом моего с Вами идейного несогласия. Это такой упрек, на который очень трудно ответить. И все же... И все же я посмею реабилитировать Фаддея Венедиктовича и восстановить справедливость, насколько мне позволят мои слабые силы.

Представьте себе такую ситуацию. Вы случайно узнали о том, что Ваш сосед — шпион или ведет антиправительственную агитацию. Что вы должны сделать? Доносить или не доносить? Хочу напомнить, что факт недонесения является не только фактом индифферентности и пассивности, но и актом, несущим в себе уголовное деяние, а, следовательно, и уголовное наказание.

Преступно не донесение, а недонесение. Плохо, когда донесение сделано из мотива страха; прекрасно, когда оно сделано из мотивов бескорыстного служения отечеству. И тут-то чисто словесная разница, как это бывает очень и очень часто и сбивает с толку идейно незрелого читателя. Не доносы писал Фаддей Венедиктович, а донесения; не по личной злобе, а из-за гражданских чувств, и не платным осведомителем был он, а вполне сознательным и ответственным гражданином общества. Другое дело, что само общество было плохим, может быть, даже преступным, но это была его страна и его общество, и не можем мы требовать от гражданина большего, чем он может дать. То есть я хочу сказать, что в каждом обществе гражданин его обязан быть послушным, ответственным и всемерно способствовать разоблачению его врагов. Мы обвиняем Фаддея Венедиктовича в том, что воспитываем сами в молодом поколении, не кажется ли Вам, что это тоже своего рода заблуждение, если не сказать — преступление?

Я хочу обратить особое внимание на этот пункт, а именно: если мне и могут в чем возразить, то только в одном, Фаддей Венедиктович работал на царя против революционного движения, и все ваши параллели, товарищ, неуместны и глупы. Я готов такое возражение выслушать и ответить на него. Ответить в том смысле, что тогда Фаддею Венедиктовичу еще не было света марксизма, и он никак не мог осознать, что объективно

работает на отживший режим. Он думал, что защищает родину. Он это делал, и в этом его правда. Обвиняя его, мы, по существу, разрушаем основы всяческого патриотизма. Я даже полагаю, что мы должны государственным законом запретить печатание иностранных авторов, критикующих свой строй, пусть этот строй и является враждебным нам капиталистическим строем. Ибо, в противном случае, так как это может иметь место быть сейчас, любой читатель может сделать два вывода:

1. Критика своей страны может совмещаться с патриотизмом. Так как мы не можем печатать непатриотов и отщепенцев, то мы печатаем патриотов. Но все то, что мы печатаем, несет элемент критики, а это значит то, что я уже сказал выше. Далее, мы сами разрушаем представление о Западе, которое сами же создаем. Мы говорим, что империализм не позволяет своим писателям критиковать общество и разглашать свои позорные тайны, а в романах, которые мы переводим и печатаем, и тайны разглашаются, и строй критикуется. И все эти романы у них там, на родине империалистов, тоже печатаются. Уважаемый критик, неужели Вы раньше не могли обратить на это внимание? И выходит, что мы всяческого рода сомнительными публикациями доказываем две вещи, не совместимые с идеологической борьбой — это сочетание патриотизма с социальной критикой и сочетание свободы с империализмом. В борьбе идей, я думаю, это самое серьезное упущение.

2. Как человек нормальный, читатель может подумать и так: они там себя критикуют, и мы их печатаем, значит, это дело нормальное, и если они будут печатать вещи, изданные у нас и нас критикующие, то и это дело нормальное. А это уже, как Вы сами понимаете, оправдание всякой синявщины и даниэльщины, то есть сук рубим, на котором сидим. Далее. Каждый наш читатель в минуту усталости или временной неурядицы может увидеть отдельные наши недостатки, отражение этих недостатков в отдельных нечистоплотных писаниях радикалов типа того же Солженицына или Синявского. Но наш читатель знает, что один подвержен, и справедливо,

остракизму, другие изолированы. Значит, подобных методов борьбы с клеветническими авторами он должен ожидать и на этом проклятом Западе. И вдруг он узнаёт, что ничего такого там нет, что ни один Фолкнер не посажен, ни там Хемингуэй или Ремарк, не говоря уже о коммунистах Арагоне, Элюаре или каких-нибудь еще. И тогда он, читатель наш предполагаемый, начинает задумываться над вещами, о которых и думать-то не стоит.

Так что я не только прошу, но я и требую, как гражданин и патриот, пересмотреть нашу классику, запретить передовую литературу любого плана, социальную — по вышеизложенным мотивам, развлекательную — потому что это ослабляет наше мнение о суровой, требующей всех сил борьбе западного пролетариата за социальную революцию.

Поэтому я и задал вопрос: чего же Вы хотите? Чтобы несколько человек обогатили в будущем мировую культуру, или чтобы писательство делало то, что оно и делать должно — воспитывать граждан и патриотов. Я знаю, что Вы ответите, ибо я не могу поверить, что в этом вопросе могут быть два мнения. Но тогда я заклинаю: прекратите травлю Фаддея Венедиктовича Булгарина, свергните старые статуи и из их обломков соорудите ему бронзовый столп с надписью: "Писателю и гражданину от благодарных потомков!"

В доказательство того, что опыт Фаддея Венедиктовича не целиком забыт, что есть все же в нашей стране писатели, не забывшие его, я и обращаюсь теперь к беглому анализу литературного памятника эпохи, к роману Всеволода Кочетова "Чего же ты хочешь?"

Но это в следующем письме.

*С уважением, В. Гусаров.
Февраль, 70 г.*

ЖУРНАЛ "ЭХО"

В Париже начал выходить новый литературный ежеквартальный журнал "Эхо", редактируемый В. Марамзиным и А. Хвостенко. Повод для выхода еще одного журнала — обилие рукописей из России.

В 1-м номере читайте повесть ленинградца Владимира Губина "Бездожде до сентября", рассказ В. Рыбакова "Закон", отрывок из распространяемой самиздатом книги Георгия Пескова "Разговор с собой", "Письмо из лагеря" Михаила Хейфеца, публикацию прозы одного из крупнейших русских поэтов Александра Введенского, уничтоженного при Сталине, большие подборки стихов трех поэтов — И. Бродского, Э. Лимонова и А. Хвостенко, статьи А. Волохонского о Набокове и В. Марамзина о Максимове и др.

ЖУРНАЛ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТЛИЧИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ, ОДНАКО НАДЕЕТСЯ БОЛЕЕ ДРУГИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ИМЕННО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОЦЕССАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, А ТАКЖЕ ВВОДИТЬ В РУССКИЙ ОБИХОД НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ИНОЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Журнал продается во всех русских магазинах. Цена 16 фр. фр.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Меня никогда не покидало ощущение, что история развивается по кругу. Если массы и являются творцами истории, то разве только в том смысле, что с маниакальным упорством пытаются повторить ошибки прошлого. Лишь некоторые, Богом избранные люди, составляют приятное исключение и не без скепсиса оглядывают содеянное отцами. Тогда и появляются произведения, подобные тому, что публикуется в этом номере. Любопытно, что его автор продолжает фундаментальную работу своего отца, старого большевика и бывшего комбрига Григория Самойловича Ларского.

Лет пятнадцать назад Григорий Самойлович Ларский принес в редакцию "Юности" произведение своей жизни "Боевая, комсомольская", о содержании которого нам остается только догадываться. По неизвестным причинам почетный комсомолец и пионер, просидев в приемной редактора "Юности" Валентина Катаева четыре часа, так и не был им принят.

Сын Григория Самойловича Ларского, как и причлещтует сыну такого человека, влился в армию строителей коммунизма. Он ушел на фронт, но не стал ни комбригом, ни даже взводным и, являясь личностью совершенно аполитичной, увидел "страну героев" в несколько ином свете, чем видел его отец. Вместе с тем, сын не утратил переданную ему, по-видимому, по наследству тягу к воспоминаниям и, вместо написанных когда-то папой мемуаров комсомольца двадцатых годов, предложил редакции мемуары... ротного придурка.

Мне доставляет удовольствие представить читателям произведение этого необычного жанра, безусловно, талантливое и свидетельствующее о том, что история не только развивается по кругу, но и полна неожиданностей.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Жене Гале свои мемуары посвящаю.

— А паспорт у тебя есть? — закричала крыса, — предъяви паспорт.

Ганс Христиан Андерсен
"Стойкий оловянный солдатик".

Лев ЛАРСКИЙ



ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ! (из мемуаров ротного придурка)

О Второй мировой войне написаны монбланы воспоминаний. Написали свои мемуары и маршал Жуков и Уинстон Черчилль, все выдающиеся и даже не особо выдающиеся полководцы, флотоводцы, генералы, полковники, майоры и некоторые лейтенанты. Написали особо отличившиеся и не особо отличившиеся в боях герои.

Я долго ждал, когда же, наконец, появятся мемуары рядовых солдат — нестроевиков, тружеников ротных и батальонных тылов — кашеваров, писарей, ездových, всех тех, кого по фронтовой терминологии именовали "придурками".

И, не дождавшись такой книжки, я решил сам взяться за шариковую ручку и попытаться открыть новую страничку в жанре военно-мемуарной литературы.

Следуя общепринятой традиции, я начинаю воспоминания с описания своей родословной и детских лет, а затем перейду непосредственно к моим фронтовым похождениям.

*Часть 1. ВЗВЕЙТЕСЬ, КАСТРАТЫ...***ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР
И МОЯ НЯНЯ**

Карл Маркс, между прочим, друг моего детства, защитник и покровитель, как-то отметил, что все события повторяются дважды. Сначала, как трагедия, потом, как фарс.

Оглядываясь на свою жизнь, я замечаю, что у меня почему-то события большей частью повторяются в обратном порядке: сначала, как комедия, а впоследствии, как драма.

Одно из двух — либо старик подкачал со своей теорией, либо у меня все не как у людей. Наверное, моя покойная бабушка была права, когда однажды в сердцах сказала, что у меня "еврейское счастье".

Я родился в год смерти Вождя Мировой Революции и мирового пролетариата, Великого Учителя всех трудящихся и угнетенных Владимира Ильича Ленина.

Вся страна была погружена в глубокий траур. В Красной столице — месте моего рождения — на всех домах висели траурные полотнища, слышались звуки похоронных маршей и скорбное пение:

Замучен тяжелой неволей.

Ты славною смертью почил...

В год моего рождения в далекой Африке и Азии горько плакали угнетенные негры и кули.

...Странное совпадение — мой папа родился в год смерти Его Императорского Величества Государя Императора Всея Руси, чего-то еще, Царства Польского, Великого Князя Курляндского, Лифляндского и, насколько мне помнится, Эстляндского — Александра III, а моя дочь Алла родилась в год смерти Великого Вождя Советского народа и всего Социалистического лагеря (включая Царство Польское и ряд других) Величайшего полководца всех времен и народов и Корифея Всех Наук — Иосифа Виссарионовича Сталина!

Судя по всему, в нашей семье знали, когда рождаться, однако, не углубляясь в семейную генеалогию, вернуть

в объятую горем Красную столицу, в гостиницу "Астория" на Большой Тверской улице, где в те годы размещалось общежитие-коммуна Военной Академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Я появился на свет Божий в тот самый момент, когда мой папа председательствовал на торжественно-траурном митинге коммунаров, посвященном светлой памяти Бессмертного и Вечно Живого Вождя. Замечу только, что, узнав о случившемся, папа не покинул своего председательского места.

Несколько слов о папе. На известной картине Народного художника СССР Б. Иогансона "Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола" среди героических персонажей (на втором плане), к которым обращается Вождь с историческими словами: "Учиться, учиться и учиться!" можно заметить молодого человека в командирской форме и в пенсне, обмотанного бинтами. Этот портрет написан с фотографии моего папы, делегата исторического съезда Григория Ларского (Поляка), большевика-подпольщика и одного из организаторов комсомола.

Мой папа сразу же последовал завету Ильича. С революционным пылом он учился, учился и учился. Он окончил Курсы при военной секции Коминтерна, Военную Академию, Институт Красной профессуры и еще что-то, проучившись в общей сложности пятнадцать лет, не считая хедера на Молдаванке. Стойкого большевика не сломали ни тюрьмы, ни пытки. Невзирая ни на что (он потерял зрение), папа оставался твердокаменным ленинцем и впоследствии, еще при жизни, был допущен в полный коммунизм ("персоналка" союзного значения, кремлевская столовая, плюс инвалидность первой группы).

При всем этом, однако, папа не остался безучастным к факту моего рождения. Он внес предложение назвать меня в честь усопшего, но вечно живого Вождя, и коммунары его единогласно поддержали, "учитывая текущий момент и задачи мирового пролетариата" — как было записано в резолюции.

И вот здесь получилась осечка, которая, спустя много лет, дорого обошлась моему папе. После смерти Ленина среди его верных учеников и последователей вспыхнула внутрипартийная борьба, и папина партиячка тоже раскололась на враждующие фракции: ленинцев-сталинцев, ленинцев-троцкистов, ленинцев-бухаринцев и т.д.

Из-за этой свары ни одно из предлагаемых для меня имен не собирало большинства. Какие только имена не придумывались: Виль, Вилен, Владилен, Ленистр, Левопр, Леснам, Лемар и т.д. и т.п. — и дело грозило затянуться до бесконечности.

Когда мне исполнился год, моя беспартийная мама потеряла терпение, плюнула на фракционную борьбу и резолюции, пошла в ЗАГС и записала меня просто Львом. Не в честь Ленина и вовсе не в честь Троцкого, в чем ее сразу же обвинили, а в честь своего любимого папы и моего дедушки ребе Лейба (Льва) Финкельштейна, погибшего от рук петлюровцев.

Если бы моя бедная мама, умершая совсем молодой в 1932 году, могла себе представить последствия своего политически непродуманного шага, она бы предпочла, чтоб я остался безымянным на всю жизнь.

В 1936 году на отца поступил донос. Сообщалось, что одиннадцать лет тому назад, председательствуя на партсобрании, он провалил ленинскую резолюцию и принял троцкистскую. Не знаю, правда ли это, но по рассказу отца мама со своим Львом его здорово подвела.

Карьера его трагически оборвалась.

Я не пошел в своего родителя.

Учиться, учиться и учиться я ужасно не любил. Больше всего я любил болеть, потому что тогда можно было не ходить в школу, а, лежа в кровати, читать интересные книжки или просто мечтать.

Я не симулировал, а действительно очень часто простуживался и болел. Стоило кашлянуть или пожаловаться на головную боль, как меня тут же укладывали в постель и вызывали тетю. Тетя приезжала после работы со своим знаменитым черным чемоданчиком, в котором лежала клизма и медицинские банки.

Моя тетя работала бухгалтером-плановиком, но она считала, что разбирается в медицине лучше любого врача. У нее была своя собственная теория: по ее мнению, самым лучшим средством от всех болезней являются клизма и банки. Из двух зол я выбирал меньшее и предпочитал клизму школьным занятиям.

Помимо того, что я не любил учиться, я ужасно не любил пионерские сборы и старался сбежать с них. Забывал надевать красный галстук, ненавидел пионерский строй, потому что никак не мог попасть со всеми в ногу, путаясь в строю под стук барабана и совершенно неприличные звуки, извлекаемые из трубы горнистом Васькой Кузиным, и сопровождавшие наш пионерский гимн:

**Взвейтесь, кастраты,
в синие ночи,
мы — пионеры,
дети рабочих...***

Когда я спрашивал пионервожатую Любу, что означает слово "кастраты", она даже не могла объяснить этого. Просто так поется, и все.

Так, с песней о кастратах во дворе школы № 2, у Горбатого моста, на шоссе Энтузиастов, я впервые познакомился с ненавистным мне строем. Мог ли я тогда подумать, что во время войны, будучи признанным совершенно не годным к строевой службе, я, тем не менее, пройду в солдатском строю несколько тысяч километров от Северного Кавказа до самой Германии. И что строй станет для меня буквально родным домом — в строю я научился спать, есть и пить, отправлять естественные надобности — единственное, чему я не научился, это — ходить в строю, как положено солдату. Много раз я отставал от строя и терял своих, а однажды, во время наступления в Крыму, даже притопал в Симферополь в то время, как моя часть пошла на Алушту!

Должен сказать, что к этой моей слабости в роте привыкли, и моя пропажа не вызывала особого беспокойства, пото-

* Впоследствии лишь я узнал, что следовало петь: "Взвейтесь, кострами, синие ночи..." Кастраты здесь были не при чем. Вкралась фонетическая ошибка.



Папа при советском коммунизме. Санаторий Кратово.



Я (слева) при израильском социализме.

му что ротный знал, что рано или поздно я объявлюсь живой или мертвый.

Я даже чуть было не попал на парад Победы 9 мая 1945 года, на Красной площади в Москве, если бы по своей привычке не отстал от части именно в тот момент, когда отбирали кандидатов (меня, безусловно, послали бы и как москвича, и как полкового ветерана) .

Сводная колонна нашего фронта немного потеряла от моего отсутствия на параде: в ее рядах шел куда более выдающийся представитель нашей братии.

Я был всего-навсего ротным придурком, он же — придурком армейского масштаба, начальником политканцелярии 18-ой армии — Леонид Ильич Брежнев, ныне маршал Советского Союза и выдающийся полководец нашего времени*.

...Себя я более или менее отчетливо помню с пятилетнего возраста.

И снова какое-то странное совпадение в нашем семействе: мой папа начал помнить себя с кишиневского погрома, тетя помнила себя с одесского погрома (куда вся семья бежала из Кишинева), старший брат папы дядя Марк начал помнить себя с погрома в Белой Церкви, откуда они бежали в Кишинев.

Я тоже помню себя с погрома... в Китае, откуда папа, мама и я бежали в Москву.

Это было в 1929 году, когда вспыхнул советско китайский конфликт из-за КВЖД, и китайцы напали на советское консульство в Тяньцзине, где мы в тот момент обитали.

Почему мой папа после академии оказался в Китае, в должности младшего сотрудника торгпредства? На этот вопрос я не могу ответить. Наверное, для того, чтобы изучать китай-

* Спустя четверть века я с большой гордостью узнал, что преодолевал Карпаты благодаря мудрому водительству Леонида Ильича Брежнева. К своему стыду, будучи солдатом 18-ой армии и комсоргом роты, я не слышал его фамилию — величайшая скромность Леонида Ильича всем известна. Из политшишек мне довелось мельком увидеть своего тезку генерал-полковника Мехлиса Льва Захаровича, члена военного совета фронта. Он как-то приезжал и в наш полк. Вот это была фигура!

ский язык, для практики (другого практиканта, папиного приятеля, китайцы почему-то повесили).

У папы вроде неприятностей не было, он носил две фамилии: Ларский и Поляк. Ларский — был его псевдоним, партийная кличка, его большевистская фамилия, а Поляк — это настоящая фамилия нашей семьи.

Так вот, на его счастье, китайцы не догадывались, что скромный товаровед "мистер" Поляк и комбриг Красной Армии товарищ Ларский — одно и то же лицо, мой папа.

Такие манипуляции папа совершал не впервые. Еще во время гражданской войны ему удалось обвести вокруг пальца деникинскую и британскую контрразведки, которые за ним охотились. В одном случае он выкрутился, доказав, что он никакой не Ларский, а Поляк, а в другом, наоборот, — что он не Поляк, а Ларский.

Забегая вперед, отмечу, что с "органами" НКВД-МГБ у него этот фокус почему-то не удался. Он пострадал и как Ларский (за мнимое участие в троцкистской оппозиции), и как Поляк (безродный космополит), и, доживи папа до наших времен, он, возможно, пострадал бы и в третий раз за обе свои фамилии вместе, как агент мирового сионизма (троцкист плюс космополит).

Мне кажется, что под конец своей жизни, когда папа совсем ослеп после неудачной операции, он начал немного прозревать.

Один из его близких друзей и сподвижников по революционной борьбе как-то спросил напрямую: "Гриша, может, зря мы все это затевали?"

Отец, вечно воинствующий ленинец, на этот раз промолчал.

Когда я, уже будучи в солидном возрасте, читал в газетах о бесчинствах хунвейбинов, пережитый мной погром всплывал перед глазами. Из-за высокой железной ограды консульства летел град камней и палок. Слышался свист и крики многотысячной толпы. Мама была в панике. Мы долго сидели под крышей и дрожали от страха.

Мама потом рассказывала, что все было, как при еврейском погроме в Одессе, когда убили моего дедушку (но с

той разницей, что не русские громили евреев, а китайцы громили русских). Я тогда очень переживал за своего любимого плюшевого мишку и боялся, чтобы китайцы у меня его не отняли.

Видимо, вследствие пережитого в детстве инцидента, всю жизнь меня не покидало смутное чувство беспокойства и тревоги, связанное с китайцами. И в Москве, когда мы переезжали с квартиры на квартиру, я каждый раз интересовался, а не будут ли нас на новом месте громить китайцы?

Взрослые тогда только смеялись, явно позабыв пословицу, что устами младенца глаголет истина.

О Китае мне в детстве долго напоминали две вещи — коврик над моей кроватью с фигурками картонных китайцев, обтянутых разноцветным шелком, они загадочно улыбались в своих длинных халатах с широкими рукавами. Потом в китайцах стали заводиться клопы, и коврик пришлось выбросить.

И еще монета с дырочкой, которую мама мне повесила на шею, как талисман. Эту монетку мне дал "на счастье" сам диктатор Чжан-Цзо-Линь, тогдашний властитель Северного Китая: мама как-то гуляла со мной в сеттельменте, встретила его случайно в окружении телохранителей и многочисленной свиты.

Диктатор сообразовал обратить внимание на мою персону, потому что я был, как утверждала мама, очень красивым, и у меня были длинные льняные волосы, выщипанные крупными кольцами.

После смерти мамы талисман куда-то затерялся, видимо, вместе с моим счастьем.

Еще от Китая сохранилась у меня до самой войны дворовая кличка Левка-Китаец.

Став взрослым, я о своем пребывании в Китае предпочитал не упоминать (так же, как и о некоторых других печальных фактах своей биографии) во избежание лишних вопросов в отделе кадров. В многочисленных анкетах, которые каждому приходилось заполнять, в графе "был ли за гра-

ницей" я ставил прочерк либо писал: "в период Отечественной войны в составе советских войск". Эта предосторожность, возможно, спасла меня в свое время от вынужденного признания в связях и с Чжан-Цзо-Линем и с бывшим китайским императором, о чем и пойдет сейчас речь.

В Китае у меня была няня, которая воспитывала самого китайского императора! Она даже показывала родителям какую-то китайскую грамоту, подтверждающую этот факт.

Но после того, как в 1911 году свергли императора, ее попросили из дворца, и бывшая аристократка запила с горя. Родители сразу это не обнаружили, а нянька свой порок, разумеется, скрывала, и вообще она вела себя с ними довольно надменно, как и подобало особе, близкой ко двору китайского императора.

Мама за нее очень держалась — ведь няньки, воспитывавшие китайских императоров, на улице не валялись — и полностью ей доверяла. Моей маме очень льстило, что я воспитываюсь, как китайский император!

Она не подозревала, что эта старая обезьяна с маленькими ножками-копытцами ее обманывала и вместо того, чтобы водить меня в "высшее общество", где дети разговаривают только по-английски и по-французски, как она утверждала, таскала по портовым притонам и злочным местам, о которых в приличном семействе даже не принято упоминать.

Совершенно случайно мой папа это обнаружил, и няньку выгнали. В результате моего "императорского воспитания" я обучился, как попугай, ругаться почти на всех языках и подбирать валявшиеся на улице "чинарики".

Как я уже упоминал, я рано остался без мамы. Папа с таким усердием грыз гранит марксистско-ленинской науки, что не мог уделить мне времени, и в Москве у меня появилась новая няня, которая и занялась моим дальнейшим воспитанием. Она никогда императоров не воспитывала — только кур, телят, поросят и прочую живность, водившуюся в их хозяйстве до того момента, когда всю их деревню стали "сгонять в колхоз", как она выражалась.

Когда телят и поросят отобрали, она поехала в город и начала выращивать и воспитывать меня. Имя у нее было очень романтическое — звали ее Татьяной Лариной, и так же, как пушкинская героиня, она не привлекала своей красотой очей. Няню взяли еще при жизни мамы. Пришла она к нам неграмотная, в лаптях и деревенской одежде. Она долго не могла привыкнуть к городской жизни, ходила в церковь, постилась, говела.

Папу она так до конца и называла "хозяином". А когда мама, "хозяйка", умерла, няня поклялась Христом-Богом не бросать меня сиротинушку, пока я не подрасту. И хотя к ней однажды даже сватался пожарник, няня клятву не могла нарушить. Пожарник походил, походил и переключился на другой объект. Впоследствии он заделался большой шишкой, чуть ли не наркомом РСФСР, и няня, я думаю, в глубине души сожалела, что дала ему от ворот поворот.

Первое время в Москве у нас не было своего угла, и мы с моей китайской черепахой Синь кочевали по знакомым. Жили в Даевом переулке возле Сухаревой башни. По Сретенке несло, как из бочки, запахом квашеной капусты, соленых огурцов и тухлой селедки, а в нашем доме пахло подгорелым молоком, кошками и татарами, они жили прямо в коридоре, куда выходили двери всех квартир.

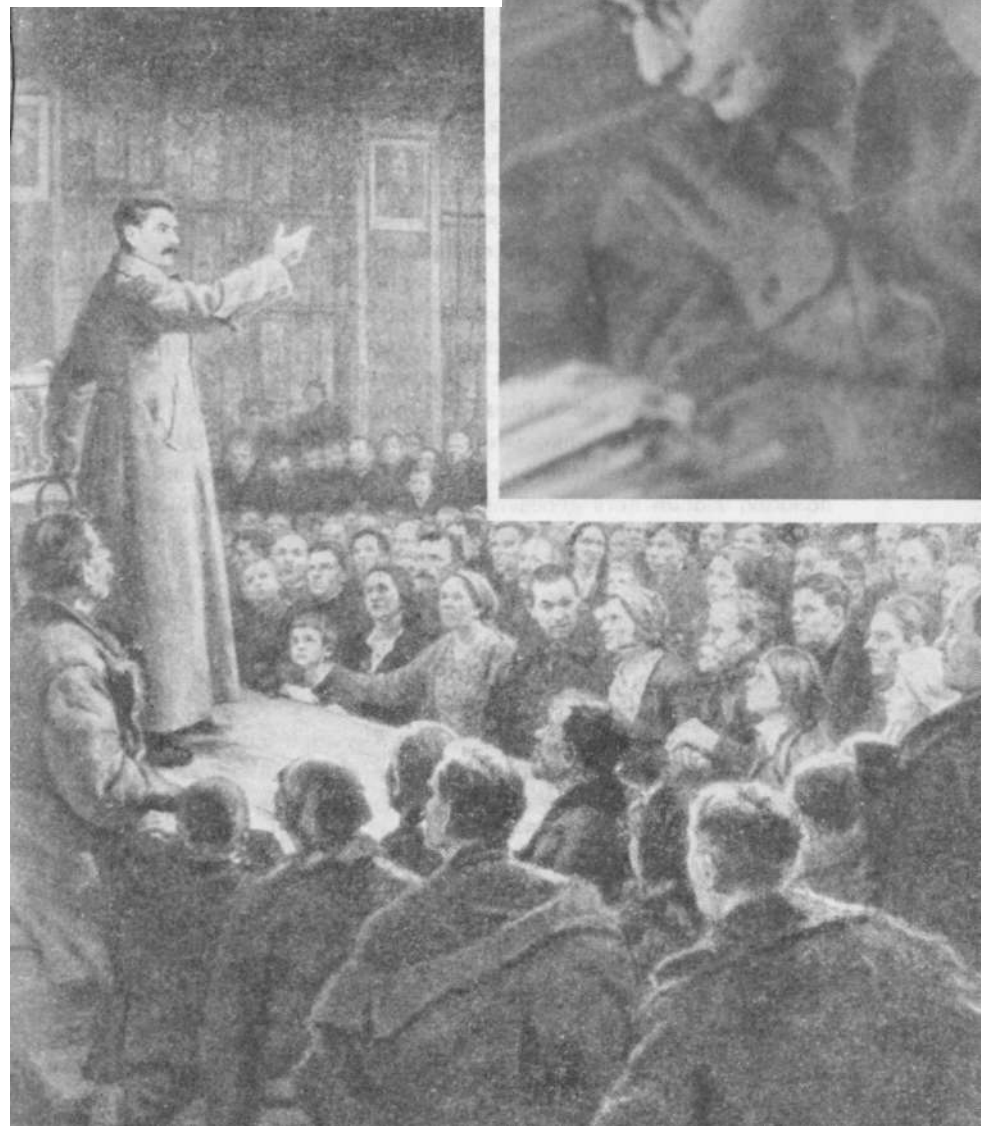
Из всех достопримечательностей старой Москвы самое громадное впечатление на меня производил храм Христа-Спасителя — в те времена самое высотное, выражаясь по современному, здание столицы.

Слом храма явился для моей няни страшной трагедией. Она утверждала, что когда храм разрушат, придет "анчихрист" и настанет конец света. Ее нисколько не утешало то обстоятельство, что на месте этого старорежимного храма, построенного в честь царей Романовых, будет построен новый коммунистический храм в честь Вождя Октябрьской Революции — Дворец Советов, самое величественное сооружение во всей истории. Что он будет выше Вавилонской башни и Египетских пирамид, и он будет настолько гигантским, что с пальца вождя, указывающего путь в коммунизм,



Владимир Ильич Ленин на III-м съезде комсомола и я после появления на свет

Великий Вождь и Учитель и я в процессе размышления



смогут без труда взлетать самолеты, пилотируемые отважными сталинскими соколами.

В этой истории мой друг и наставник Карл Маркс, безусловно, оказался прав, ибо события, действительно, повторялись сначала, как трагедия, а затем приняли явно комичный оттенок. Храм Христа-Спасителя сломали, но вместо храма Ленина построили искусственный водоем круглой формы, напоминающий арену цирка с водной пантомимой на Цветном бульваре. И единственно, кто там вздымал вверх палец, был комик Юрий Никулин, а бывшие сталинские соколы, вышедшие на пенсию и сидевшие среди публики с внуками на коленях, бурно хохотали глядя на пантомиму (человечество смеясь расстается со своим прошлым, как сказал мой друг детства Карл Маркс) .

Но я, кажется, уклонился в сторону от повествования о моей няне, которая растила меня до четырнадцатилетнего возраста, как говорится, не за страх, а за совесть.

В ее деревне Кобивке Рязанской области, где я не раз проводил летние каникулы, меня чуть ли не считали "своим", деревенским. Я неплохо играл на балалайке, на деревянных ложках, любил петь деревенские песни вместе с няней (это мне на фронте очень даже пригодилось). Песни большей частью почему-то были про участь заключенных (наверно, няня еще тогда предчувствовала свою неординарную судьбу).

**В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачу принесла...**

или:

**Луна зашла, все тихо стало,
Воронеж спит во тьме ночной,
А в одиночке номер восемь
Сидит преступник молодой.**

Я больше всего любил песню про зарезанного купца:

**...А утром рано на рассвете
Стучится в сенца к ней мертвец:
Отдай, старуха, мои деньги —
Ведь я зарезанный купец!**

Потом няня ушла от нас устраивать свою "жизнь", поступила куда-то работать. Мог ли я предположить, что не в воду канула, а делала секретную военную карьеру.

Я на войне не заработал ни одной лычки, моя няня немало обошла меня в чинах.

Объявилась она только после смерти моего отца в 1966 году, но это была уже не моя прежняя Татьяна Ларина. Кто бы мог подумать: няня стала славным чекистом, старшим сержантом КГБ в отставке! Она уже выслужила пенсию, но без дела не сидела, прирабатывала к пенсии, как приходящая домработница в обеспеченных семьях, у всяких профессоров, писателей, даже у Народного артиста Утесова (полагаю, что появлялась она там в гражданской одежде).

Няню мы приняли с большим почетом. Жена приготовила угощение, выпили за встречу, был устроен домашний концерт в ее честь: старшая дочь Алла исполнила фугу Баха в переложении для фортепиано, младшая Наташа — бессмертного бетховенского "Сурка" на скрипке.

Няня прослезилась.

Уходя няня сказала: "Хоть я и партийная стала, член КПСС, а в церковь опять хожу".

Видать, была не безгрешна в своей должности старшего сержанта КГБ.

КАРЛ МАРКС И ДОХЛЫЕ ЛЯГУШКИ

В 1930 году папа получил жилплощадь в новом доме на окраине Москвы, "у черта на куличиках" — как выразилась мама. Дом наш находился за Рогожской заставой и Горбатым мостом, на шоссе Энтузиастов.

Наш новый П-образный корпус из красного кирпича, с громадным внутренним двором, тогда одиноко высился среди пустырей и мусорных свалок. Ближайшим населенным пунктом были "американские" дома или просто "Америка" (говорили, что они были построены по американским проектам), а за шоссе, на том месте, где теперь общественная убор-

ная и памятник М.И. Калинину, теснились углые бараки. Здесь жили "сизари" — сезонники из деревни, работавшие на новостройках. Бараки еще назывались "Шанхаем".

Окраина наша была сплошь пролетарской. Новостройки заселялись преимущественно рабочими с "Серпа и Молота", "Москабеля", "Компрессора", "Нефтегаза", перебравшимися в новые пятиэтажные дома из страшных трущоб Дангауэровки, Старообрядческой и Владимирской слобод.

Многолетние семьи перебирались с подсобным хозяйством, включая и мелкий рогатый скот, на балконах визжали поросята и кудахтали несушки... Трамваи ходили только до Рогожской заставы, и путь оттуда по шоссе Энтузиастов до наших домов был и долог и небезопасен. Хулиганы из окрестных слобод и шайки бездомных беспризорников с энтузиазмом грабили и раздевали путников, бывало, и резали финскими ножами.

Мой папа, выходя на шоссе Энтузиастов, всегда носил с собой заряженный браунинг с запасной обоймой, а однажды ему даже пришлось извлечь пистолет из кармана.

Что и говорить, шоссе наше не пользовалось доброй славой. В царские времена по нему под конвоем шли, звеня кандалами, славные революционеры-большевики, направляясь в отдаленные восточные районы.

В начале Отечественной войны революционеры-большевики с куда большим энтузиазмом устремились на Восток по Владимирскому тракту, переименованному в их честь в шоссе Энтузиастов.

В печально знаменитый день 16 октября 1941 года фашисты почти окружили Москву, и наше шоссе осталось единственным путем на Восток. Тогда по нему с паническим энтузиазмом драпало (правда, без конвоя и кандалов, а в персональных и служебных автомашинах) все цеховское, горкомовское и райкомовское начальство, увлекая личным примером рядовых партийцев, а также беспартийных большевиков и наиболее сознательную часть населения.

Пока эта полумиллионная армия "энтузиастов" бежала по нашему шоссе из Москвы, брошенная ими на произвол судь-

бы несознательная часть населения занималась в основном пополнением своих продовольственных запасов, действуя по естественному принципу: энтузиасты уходят и приходят, а жрать-то все равно надо! Эту далеко не героическую эпопею я имел несчастье наблюдать, повиснув на фонарном столбе у пересечения шоссе с Казанской железной дорогой, которая тоже действовала.

Представьте мое состояние — объятый ужасом от всего увиденного (я ждал у моста полуслеплого отца, которого вела тетя с Елоховской) вернулся домой и в панике бросился к своему другу, жившему этажом выше, Сережке-Колдуну. В их коммунальной квартире шел полным ходом загул — сосед дядя Коля приволок целый ящик спиртного из 20-го магазина, откуда весь наш дом тащил продукты — без карточек и денег — хватай, сколько можешь! Сам Серега успел уже три раза отовариться на складе райпищеторга в соседнем дворе. В другом магазине, по его словам, шла организованная раздача сливочного масла — 2 кило в одни руки!

Никто из Сережкиной квартиры никуда бежать не соби-рался, разве что снова в магазин с сумками и авоськами...

— Оставайся у нас, — приглашал меня Сережка, — как раз дядя Коля сегодня именинник.

В квартире у них стоял дым коромыслом — пеклось, жарилось, шкварилось, но мне никакие пироги с мясом и с капустой в горло не лезли.

Всю ночь топот над моей головой и звуки гармошки не давали уснуть. Не только в Сережкиной квартире шла попойка — добрая половина всей нашей пролетарской окраины гуляла в эту ночь с 16 на 17 ноября. Да и в других районах столицы шел пир горой, тащили со складов водку, из магазинов закуску.

Думаю, что не за здоровье товарища Сталина выпивали в ту ночь, когда преданные ему энтузиасты бежали из города.

Лично я, как очевидец событий, считаю, что день 16 октября 1941 года явился самым счастливым в современной истории человечества, потому что фашистские войска, к нашему счастью, упустили тогда возможность беспрепятственно за-

нять Москву. Если бы это произошло, Гитлер не проиграл бы войну.

Историки утверждают, будто Наполеон потерпел поражение потому, что захватил Москву, "спаленную пожаром", как выразился М.Ю. Лермонтов.

16-17 октября брошенная на произвол судьбы столица СССР Москва досталась бы фашистам в целостности и сохранности вместе с оставшимся в ней несознательным населением, всеми припасами и промышленными предприятиями, не успевшими эвакуироваться.

За то, что этого непоправимого несчастья не произошло, надо благодарить только Бога и штабных придурков.

Меня могут спросить: "Как ты, рядовой нестроевик, берешься судить о таких материях? При чем тут какие-то "штабные придурки"?"

Конечно, я не кончал Военной Академии, как мой папа, зато я долго был заштатным писарем у полкового инженера (по совместительству с обязанностями связного саперной роты и помощника кашевара), а потом за каких-нибудь два месяца прошагал все штабные ступени, начиная с должности писаря-картографа штаба 119 отдельного саперного батальона и кончая должностью писаря-картографа оперативно-го отдела штаба 3-го горно-стрелкового корпуса.

Поднимаясь по служебной лестнице, я не повстречал на своем пути ни одного старшего офицера или генерала с академическим дипломом ни в штабе полка, ни в штабе дивизии, ни в штабе корпуса, так что сам по себе факт, что я не кончал академии не является доказательством моей неполноценности.

Я вовсе не хочу этим сказать, что я мог бы командовать корпусом вместо легендарного генерал-майора Веденина, который, по единодушному мнению всех его подчиненных, в военном деле не смыслил ни уха ни рыла. К слову добавим, что после войны генерал-майор Веденин, которого между собой в штабе звали не иначе, как "говнюком", стал генерал-лейтенантом и комендантом Московского Кремля благодаря его супруге, служившей машинисткой в ЦК, не то у Маленкова, не то еще у кого-то.

Но и я как-никак был правой рукой майора Вальки Иванова, который, в свою очередь, был правой рукой полковника Кузнецова, начальника оперативного отдела штаба корпуса и, между прочим, милейшего человека... в нетрезвом состоянии. Без Кузнецова сам начальник штаба генерал-майор Григорьев, которого звали "боровом", был бы как без рук и без головы впридачу.

Так что я хорошо знаю, что такое придурок в штабе, особенно в тех случаях, когда его непосредственный начальник, у которого он правая рука, отлучается по своим любовным делам. А старший шеф, у которого тот, в свою очередь, правая рука, будучи в этот момент в нетрезвом состоянии, теряет оперативную идею. И тогда придурку волей-неволей приходится шевелить мозгами, чтобы не подводить свое начальство.

Теперь мне уже ничто не грозит, так что я честно признаюсь, что были моменты, когда я собственноручно отдавал приказы по корпусу и однажды даже объявил выговор командиру своей дивизии, гвардии генерал-майору Колдубову.

В штабе корпуса рядом со мной сидел другой придурок — делопроизводитель оперативного отдела сержант Никитенко, службист-хохол, пунктуально выполнявший все инструкции. Он работал, как автомат, с перебойми, когда отсутствовало начальство.

Гори все кругом, он без указаний начальства никаких "входящих" и "исходящих" ни в какие инстанции не пошлет.

К чему я обо всем этом рассказываю? А к тому, что немцы еще пунктуальнее хохлов, еще большие службисты и еще точнее исполняют свои инструкции.

И слава Богу, что в тот самый счастливый день всего человечества, 16 октября 1941 года, придурки во вражеских нам немецких штабах не пошевелили мозговыми извилинами и не ускорили движения "входящих" и "исходящих".

Сложный штабной механизм Вермахта не успел сработать. С учетом ситуации, которую я, в меру своих сил, пытался изложить выше.

Впоследствии, потерпев крушение на должности корпусного придурка, я к концу войны, когда все порядочные люди

хватали лычки и звезды, снова оказался в своей родной роте, в прежней должности. И вот тогда я попытался изложить свою теорию нашей победы под Москвой своему коллеге-придурку, писарю политчасти Мироненко.

Политчасть есть политчасть (наш замполит майор Пинин говорил: "Политинформаций не проводим, отсюда и вшивость"); у Мироненко моя доктрина не прошла. Он сказал: "Пошел к е. м. со своей теорией!", видимо, опасаясь, что она может заинтересовать нашего опера капитана Скопцева.

Однако вернусь к своему детству на шоссе Энтузиастов, в нашу сплошь пролетарскую окраину.

Двор наш буквально кишел ребятей, кричащей, свистящей, дерущейся, играющей в войну, в лапу, в чижика, в городки, в салочки...

Долгое время, словно инопланетный пришелец, я вел наблюдение из окна своей комнаты за этим муравейником, не решаясь высунуть нос.

Но меня тянуло туда, как магнитом, и я, преодолев, наконец, робость, попытался вступить в контакт с этим кишашим под окнами миром.

Кончилось это для меня весьма прискорбно. Не успел я выйти во двор, как тут же был окружен босоногой и голопужой ватагой, тарачившей на меня глаза. С криками: "Буржуй!" они бросились отрывать от моего матросского костюмчика блестящие пуговицы с якорями.

— Я не буржуй! — вскричал я.

— А кто же ты? — спросил меня самый здоровенный из них.

Я не знал, как объяснить им, и ответил: "Мы приехали из Китая".

Что тут поднялось! Сбежался весь двор.

— Смотри, китаец! Китаец! Он косой! Лягушек жрет!

Тотчас появилась дохлая расплюснутая лягушка и предводитель, ткнув мне ее в лицо, приказал: "А ну, китаец, жри! Жри, по-хорошему, не то хуже будет!" (А что могло быть хуже!?)

К счастью, в этот момент появилась няня, и ватага бросилась врассыпную. Но дохлую лягушку все-таки успели затолкать мне за шиворот.

После этого нянька ходила за мной неотступно, а мальчишки орали издали: "Китаец! Нянькин сын! Погоди, мы тебя еще накормим!"

В школе учительница Галина Ивановна объясняла мальчишкам, что в нашей Советской стране нельзя так дразниться: ведь у нас в стране все люди между собой равны — и русские, и татары, и китайцы, и даже негры!

Она объяснила всем, что я вовсе никакой не "китаец", а еврей, — у нее это записано в классном журнале.

Вот так впервые я узнал, что я еврей, и был так ошеломлен этим открытием, что даже описался прямо на уроке.

Однако мальчишки не перестали дразнить меня "китайцем", правда, теперь они к этой кличке прибавили позорный эпитет "обоссанный" и продолжали донимать меня дохлыми лягушками.

Итак, ужас расовой дискриминации я испытал с раннего детства, но не как еврей, а как "китаец".

Когда мы с няней гуляли в садике возле храма Христа-Спасителя, я слышал, как другие няньки судачат о евреях. Одни говорили, что евреи хорошие люди, не пьют водку и платят жалование в срок, другие — что евреи плохие, жадные, каждую копейку считают. Одна нянька рассказывала будто евреи, когда разговаривают, — размахивают руками и даже подпрыгивают, вроде бы порхают, как куры. Поэтому их и называют "пархатыми".

Папа объяснил, что национальности никакого значения не имеют, это просто пережиток царизма и проклятого прошлого. Когда я вырасту и стану взрослым — сказал он — никаких национальностей не будет.

Папа спросил меня: понял ли я все это?

Но у меня назрел еще один вопрос.

— Папа, а евреи лягушек едят? — спросил я.

Я не ожидал, что мой папа так будет реагировать. Он даже покраснел и стал на меня кричать: "Кто тебе это сказал? Отвечай! Ты знаешь, что за такие слова в девятнадцатом году к стенке ставили? Кто тебе сказал эту антисемитскую гадость?! Я приму меры!"

— Ты знаешь, что сам Карл Маркс, наш Вождь и Великий Учитель, был тоже еврей?

И папа рассказал мне кое-что.

Честное слово, я не знал до этого разговора, что мы с Карлом Марксом, оказывается, оба евреи! А главное, я узнал, что, в отличие от китайцев и французов, евреи лягушек не едят и никогда не ели.

Теперь стоило кому-нибудь только заикнуться насчет китайцев, как я тут же задавал вопрос и обидчики затыкались.

— Я не "китаец", а еврей! — заявлял я. — Сам Карл Маркс, самый главный Вождь, был тоже еврей! Что же он, по-твоему, лягушек ел? Да..?

Никто не решался сказать, что сам Карл Маркс, самый главный Вождь, ел лягушек!

После моего вопроса даже самые отпетые хулиганы поджимали хвосты и затыкались.

Я крепко держался за Карла Маркса, и он меня здорово выручал в детстве.

ЗАКОН ДВОРА

Когда я вернулся с войны живым и почти невредимым, знавшие меня с детства откровенно недоумевали: как такой растяпа, неумеха и хляк, "нянькин сынок" и "книжный червяк" ухитрился не погибнуть и не загнуться на фронте?

Конечно, мне повезло, но секрет не только в этом. Думаю, что многим обязан также нашему двору, в котором я вырос и где прошел долгий и тернистый путь от презираемого всеми отщепенца до своего "огольца".

Неписанный Закон Двора был элементарно прост и жесток. Согласно ему, все делились на три категории — на своих, или "огольцов", живущих в нашем дворе, чужих, или "вахлаков", живших на чужих дворах, и "лягавых", которые якшаются с чужими ребятами или с дворниками и милиционерами. Закон гласил: "держишь "огольцов", бей "вахлаков" и "лягавых"! "Лягавых" можно было бить без всяких правил, даже лежачими.

Действовал Закон Двора автоматически, а тех, кто его нарушал, карал беспощадно. Если пацан не держался со своими, его били и "свои" и "чужие": первые — потому что он не заслуживал доверия и тотчас же переходил в категорию "лягавых", а вторые — потому что "свои" за него не заступались.

Если "свои" нарушали Закон и не били "лягавых", "лягавые" размножались, они могли совершить во дворе переворот и захватить власть. Тогда они сами становились "своими", а бывшие "свои" сразу переходили в категорию "лягавых", и поделом — не хлопай ушами! Но Закон при этом продолжал действовать с точностью часового механизма.

Никаких других законов двор не признавал: ни законов, которые выдумали милиционеры и дворники, ни тех, которыми учили школьные учителя и пионервожатые. В школе, куда волей-неволей нужно было ходить, тоже действовал Закон Двора. Он был сильнее и живучей школьных правил и пионерского устава.

Наши "огольцы" законно гордились своим двором. Ведь именно с нашего двора вышел сам Николай Королев, "Король", как его с гордостью называли "огольцы", знаменитый боксер, чемпион СССР в тяжелом весе!

Правда, и "американцы" хвастались тем, что у них проживает герой-челюскинец, а также овчарка Леда с двумя золотыми медалями.

— Подумаешь, герой! — презрительно усмехались наши, — "Король" как одной левой въедет вашему челюскинцу по зубам!

Что же касается овчарки, то хотя на нашем дворе таких собак не водилось, зато была корова, которая проживала на четвертом этаже, в ванной комнате. Ее там держала многодетная милиционерша, чтобы не украли. И в этом вопросе мы "американцев" переплюнули, потому что такой коровы, которая жила бы на четвертом этаже (без лифта) не то что в "Америке", а во всей Москве больше не было.

"Американцы" еще хвалились тем, что у них живет какой-то большой писатель, который печатает настоящие стихи, кажется, Гусев.

В нашем дворе тоже был свой поэт — сапожник Булкин. Он сам сочинил такие стихи: "Много счастья, много радости, товарищ Сталин нам принес..." и сам же их пел на мотив популярной песни "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля".

Возможно, "американский" поэт был более знаменитым, чем наш Булкин, зато наш Булкин передвигался исключительно на четвереньках, потому что всегда был в дрезину пьян.

Когда я учился в четвертом классе, мой дядя привез из заграничной командировки подарок для меня: шикарные туфли невиданного заграничного фасона на толстенной подошве из натурального каучука! Это была не обувь, а прямо музейный экспонат, их жалко было надевать на ноги, хотелось только любоваться, нежно гладить ярко-оранжевую кожу и вдыхать исходивший от них незнакомый аромат...

К моему сожалению, туфли имели один недостаток: они оказались малы в подъеме и сильно жали, поэтому нянька разрешила мне их надевать на улицу, чтобы разносить.

В те времена Москва щеголяла в ширпотребовской обувке, да и за той надо было стоять в очередях. У наших "огольцов" ботинки вообще считались роскошью — бегали в здоровенных отцовских опорках да обносках, вечно "просивших каши", а летом вообще босиком.

Мое появление в новых туфлях произвело настоящий фурор. Молва о невиданном чуде заграничной науки и техники дошла и до "Америки" и до "Шанхая"!

Я ходил, окруженный почетным эскортом, не спускающим зачарованных глаз с моих ног, а многие хотели потрогать туфли руками, понюхать кожу, попробовать на зуб подошву...

И вот тогда Лешка-Черный, Атаман всего нашего двора, — тот самый, который когда-то пытался накормить меня дохлой лягушкой, — подошел ко мне и спросил: "Китаец, хочешь быть "огольцом"? Скажешь, что я за тебя — и пальцем тебя никто не тронет!"

Процедура посвящения в "огольцы" состоялась на Старообрядческом кладбище. Я ел могильную землю и повторял за Атаманом слова "огольцовской клятвы".

Лет шесть спустя, когда писарь в 111 армейском запасном полку, куда прибыл наш маршевый эшелон, задал мне неожиданный вопрос: "Где и когда принимал воинскую присягу?" (такой пункт в красноармейской книжке обязательно должен был быть заполнен — иначе юридически ты не мог считаться военнослужащим), я так растерялся, что чуть было не брякнул: "В Москве на Старообрядческом кладбище в 1936 году!"

По не зависящим от меня причинам я не прошел установленных для всех солдат процедур, в том числе и торжественной церемонии принятия воинской присяги перед тем, как внезапно загремел в маршевый эшелон за полтора часа до его отправки. Так и провоевал незаконно до конца войны, разумеется, для записи в красноармейскую книжку какую-то правдоподобную дату пришлось придумать.

После того, как я стал "своим", моя слава сделалась достоянием нашего двора, а туфли — предметом особой гордости "огольцов" и откровенной зависти "вахлаков". Никто не знал, чего стоило мне это бремя славы — туфли мои не разношивались и зверски жали ноги. Зато во дворе я прочно занял место сапожника Булкина в ряду достопримечательных личностей, после знаменитого боксера-тяжеловеса Николая Королева и милиционерской коровы, которыми гордился наш двор, а сапожник Булкин был так ошарашен качеством заграничной продукции, что даже бросил пить и, видимо, вследствие этого умер.

Когда во время войны я попал в армию и очутился на фронте, я страшно растерялся — совсем не потому, что я был трусливее всех и дрожал за свою шкуру, а потому, что оказался ни к чему не приспособленным, не мог пристроиться к тому делу, за которое мечтал пролить свою кровь и даже пожертвовать жизнью.

Может быть, так получилось из-за того, что голова моя была набита тогдашней школьной премудростью, что я чересчур начитался для своего возраста, чересчур перемудрил. А на войне все оказалось совсем не так, как я себе это представлял

по газетам, книгам, кинофильмам и сводкам Совинформбюро.

А на фронте если солдат не пристроится вместе с другими к делу, то быстро начинает доходить и погибает, пропадет не за понюх табаку.

Как многие другие бедолаги, я мог бы скатиться по этой горестной дорожке до самого конца, если бы не понял простую истину, которая меня и спасла: любое воинское подразделение — это то же самое, что наш двор, где царит точно такой же неписанный Закон: "держишь "своих", бей "чужих" и "лягавых". И если не придется ко двору, не станешь своим "огольцом" среди солдат — хана тебе, крышка. Ничто тебя не спасет — ни патриотизм, ни воинский устав, ни все-ильный устав партийный, ни Бог, ни царь и ни герой...

ГОСУДАРСТВО КГБ

Сколько я себя помню, я всегда мечтал стать военным, как мой папа в гражданскую войну или дядя Марк, который был комиссаром 45-ой дивизии Крапивянского* и получил именной маузер от Реввоенсовета с надписью: "Товарищу Миронову за беззаветную отвагу в борьбе с врагами Мировой Революции".

Своими мечтами я ни с кем во дворе не делился. Не хотел, чтобы надо мной подтрунивали, мол, тоже вояка, нянькин сын!.. Все знали, что я драться не люблю и не умею. Прямо скажу, силой и ловкостью я никогда не отличался. К тому же рано стал носить очки, а в школе был освобожден от уроков труда, физкультуры и военного дела, потому что врачи нашли у меня какой-то шум в сердце.

Одно время мне даже бегать запретили, но кто мне мог запретить мечтать? В глубине души я все-таки надеялся, что

* Комдив 45-ой дивизии Крапивянский, известный в гражданскую войну краснопартизанский деятель на Украине, погиб (как и его бывший комиссар) в "период нарушения ленинских норм". Его революционные и боевые заслуги приписаны теперь "Украинскому Чапаеву" Н. Щорсу, своевременно погибшему еще в период гражданской войны.

когда вырасту, то смогу осуществить свою мечту. Ведь пелось в песне из кинофильма "Веселые ребята":

**"Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой..."**

— Если может быть им любой, значит и я могу? — задавал я себе вопрос.

Я любил не только мечтать, каким я вырасту героем, но и поиграть в войну. Конечно, не так, как играли в войну наши "огольцы" с "американцами": кидались камнями, стреляли друг в друга из рогаток и разбивали до крови носы. Нет, я любил это делать дома, в своей уютной комнате, без всякой драки. Мы играли вначале вдвоем с Сережкой-Колдуном, он был очень малорослый и в настоящих драках тоже не участвовал. И еще иногда к нам присоединялся Мирчик-Сопля. Но чаще Мирчик-Сопля только смотрел, потому что он был лишний, — сражаются между собой только два войска.

Наши войска состояли из моих старых игрушек, из шахматных фигур, шашек, домино, карандашей и других предметов, все шло в дело — надо было строить крепости, расставлять артиллерию. Одна сторона была "красные", другая — "белые".

Вскоре мы забросили игрушки и шахматные фигуры и занялись более серьезным делом — игрой в штаб. Мы стали рисовать цветными карандашами всякие стрелки, линии и кружки, обозначавшие военные действия.

Мы перепачкали наши школьные атласы и учебники, где были карты, потом сами начали выдумывать всякие карты и наносить на них обстановку. Там, где были "красные", мы рисовали стрелы и линии красным карандашом, а "белых" — синим. Смысл всей работы заключался в том, что она была страшно секретной, и все должно было храниться в тайне.

Мы решили дать настоящую законную клятву по всем правилам, что никогда, никому не выдадим нашей тайны. Поздно вечером, в проливной дождь, отправились на Солдатское поле, что напротив клуба завода "Компрессор" и ели там землю.

На следующий день Мирчик заболел, у него поднялась высокая температура. Он испугался и рассказал обо всем своей маме, та прибежала к нам и устроила няньке страшный скандал, заявив, что мы с Колдуном насильно заставляли Мирчика есть землю и что она этого так не оставит, пожалуется в милицию и подаст в суд. К нашему счастью, Мирчик на следующий день выздоровел, но наша тайна стала известна всему двору на потеху "огольцам". Атаман окрестил нас с Сережкой "мудрецами" и "чернильными вояками". С Мирчиком, который оказался предателем, "лягавым" после этого случая мы надолго порвали отношения.

Конечно же, моим детским фантазиям не суждено было сбыться — я не стал ни генералом, ни прославленным героем. Но наши военные игры, безусловно, дали мне определенные навыки в руководстве крупными воинскими соединениями и даже всеми вооруженными силами в масштабе государства, о чем еще пойдет речь.

А предвоенное увлечение шахматами, принесшее мне во дворе почетную кличку Левка-Ботвинник, за чисто внешнее сходство с прославленным гроссмейстером, тоже сыграло свою роль в моей фронтовой судьбе. С настоящей, взаврадашной, а не понарошной штабной игрой, я, например, столкнулся вскоре после прибытия на фронт, мне даже довелось быть одним из ее участников. Правда, я позорно провалился, проиграл: не хватило знаний и опыта.

Дело было на Керченском плацдарме, где наш полк наступал в районе Темировой горы (высота 99). Я тогда оказался в стрелковой роте.

...Капитан Котин, начальник штаба полка, свалился в мой окопчик, как с неба, изрядно меня при этом помяв. Это был весьма плотный мужчина с лицом бульдога, но оказался он весьма общительным и компанейским. Свой парень, партизан, воевал раньше в тылу у фашистов. Обратив внимание на мои очки, он сразу же заявил, что в штабе ему нужны грамотные люди, и он берет меня к себе, как только полк выйдет из боя. Тут же он записал мои личные данные и, переждав обстрел, бодро уполз из моего окопчика.

Капитан оказался человеком слова. Правда, вызвал он меня не в штаб, а к себе в землянку для сугубо конфиденциальных переговоров. Как офицер он мог, согласно уставу, приказать мне все, что ему угодно, а я, рядовой боец, обязан был его приказ беспрекословно выполнять.

Короче, ему требовался человек, который смог бы вместо него чертить штабные схемы с боевой обстановкой: генерал назначил какую-то штабную игру ("черт их знает этих армейских, в партизанах он в игрушки не игрался"), но по рисованию в школе получал одни двойки.

С другой стороны, перед начальством тоже неохота было опростоволоситься.

Тут я вспомнил нашу игру в "штаб", как мы с Сережкой-Колдуном и Мирчиком-Соплей лихо малевали синие и красные стрелы. У меня это здорово получалось.

Я взялся помочь капитану, а он, в свою очередь, дал партизанское слово, что будет по гроб жизни благодарен и в долгу не останется. Меня немного смущала моральная сторона нашей сделки, все-таки...

— Ерунда! — рассмеялся капитан. — Война все спишет. Не обманешь — не проживешь. Главное в военном деле — достичь успеха, а победителей не судят.

Разумеется, я не переоделся в форму капитана Котина и не пошел вместо него на штабную игру. Капитан Котин был там собственной персоной в числе всех штабных офицеров, расположившихся у КП командира дивизии, а я притаился метрах в семидесяти от них, в старой стрелковой ячейке, вырытой под большим камнем и надежно замаскированной сверху с помощью капитанского ординарца. Ординарец должен был осуществлять между нами связь: приносить мне записки от капитана с конкретным заданием и его топокарту с обстановкой, а от меня приносить ему ту же топокарту и нарисованные мной на листах блокнота схемы (само собой, он должен был соблюдать различные приемы конспирации, чтобы это выглядело так, как будто сам капитан Котин своей собственной рукой эти схемы чертит).

Пришел генерал, и мы стали играть.

Ординарец грелся наверху на камне, а я сидел, скрючившись в глубокой сырой норе, работать было неудобно, на бумагу сыпалась земля. По сигналу своего капитана ординарец время от времени, к нему направлялся с фляжкой или с зажигалкой, чтобы дать прикурить. Бумаги, свернутые в трубочку, он нес в рукаве шинели и незаметно передавал шефу.

Вначале игра шла весьма успешно.

— Мы впереди всех, всем полкам нос утерли! — докладывал мне сверху ординарец. — Сам генерал говорит, учитесь, мол, у капитана Котина. Вот это, говорит, штабная культура.

В последнем задании либо сам Котин перепутал север с югом, или я что-то напутал — в моей берлоге совсем темно стало, а я и без того плохо видел. Но тогда я об этой ошибке не подозревал. Ординарец понес схему, но его возвращения я так и не дождался. Я сидел в норе до самой ночи, окоченел, как цуцик, от холода и сырости. Потом я выбрался оттуда, долго плутал по каким-то чужим тылам, пока разыскал расположение нашего полка. Только под утро добрался я до штаба и узнал, что капитан Котин только что сдал дела и уехал со своим ординарцем принимать командование каким-то другим полком. В отношении меня он никаких распоряжений не оставил.

Впоследствии я узнал, что, опростоволосившись на этой штабной игре, он чуть было не проиграл свою карьеру. Выручила партизанская смекалка. Последняя его схема вызвала дружный хохот всех присутствующих на разборе задания.

— Капитан Котин, вы что... больны? Или перебрали из своей фляжки, видно, часто прикладывались?! — кричал на него генерал. — Вместо того, чтобы ударить по противнику, вы правым флангом бьете по соседу справа, а левым флангом — по собственным тылам и своему штабу. Как прикажете это понимать?!

Котин не растерялся.

— Виноват, товарищ генерал, перебрал самую малость. Болен... радикулит замучил.

Ему сошло, учли "штабную культуру", а мне ротный вlepил три наряда вне очереди в караул за то, что отсутствовал на вечерней поверке...

Но вернемся снова на наш двор, в новые дома на шоссе Энтузиастов, к нашим военным играм.

...Мысль о создании собственного государства впервые пришла в голову Сережке-Колдуну, он был маленький и тщедушный, но ужасно башковитый. Тогда как раз появилась книжка писателя Льва Кассиля "Конduit и Швамбрания", где рассказывалось, как мальчишки придумали себе во время революции свое собственное государство "Швамбранию" и играли в него. Вот Колдун и предложил заняться новой игрой вместо игры в "штаб", которая уже нам наскучила.

Играть мы решили не точно, как в книжке, а по-своему. Те ребята жили в старинные времена еще при царе, а мы ведь живем при советской власти, когда строится социализм, а в будущем даже будет построен коммунизм. Мы так и постановили, что наше государство, в которое мы начинаем играть, будет называться "Коммунистическим Государством Будущего" или сокращенно КГБ — так же как, Союз Советских Социалистических Республик называется сокращенно — СССР. (К сожалению, Сережка-Колдун пропал без вести на фронте под Ленинградом в 1942 году. Он бы смог подтвердить, что это словцо мы с ним первые выдумали еще за двадцать лет до того, как оно официально появилось и снискало себе такую широкую известность.)

По аналогии с "Швамбранией", граждане которой назывались "швамбранами", граждане нашей страны КГБ именовались "кегегбенами".

У нас было все, как в самом настоящем государстве: были вожди, разумеется, мы с Сережкой-Колдуном, кегегбенский Верховный Совет и Правительство — пошли в ход китайские болванчики, которых когда-то мама любила собирать и привезла из Китая целую коллекцию. Если такого болванчика один раз щелкнуть по башке, он мог качать своей башкой целый час, как живой, — была армия — шахматные фигуры — маршалы и командиры, пешки и шашки — соответственно, рядовые, был Верховный Суд — по совместительству мы с Сережкой, и был "враг народа" — Мирчик-Сопля, ко-

того мы судили, как троцкистско-зиновьевского двурушника и фашистского агента, подражая взрослым. Тогда в Москве начались процессы над "врагами народа", и все об этом только и говорили. Мирчика мы снова приняли в нашу компанию, но при условии, что он будет у нас "врагом народа" и тем искупит свою прошлую вину. Надо сказать, что он старался играть свою роль добросовестно, безотказно признавался в самых ужасных заговорах против КГБ и в своих связях с иностранными империалистами. За это мы его простили и назначили наркомом НКВД, а на роль "врага народа" приспособили нашего кота Вундеркаца (папа его так прозвал за необыкновенную прожорливость). Вундеркаца надо было изловить — а это было не так уж просто, потому что кот был злой, царапался и кусался, — затем накрыть решетчатым ящиком из-под яблок, а сверху на ящик мы еще клали несколько увесистых томов Маркса или Ленина из папиной библиотеки, иначе Вундеркац мог легко опрокинуть ящик и вырваться из своей тюрьмы.

Вундеркац, разумеется, в преступлениях не признавался, хотя за ним водилось немало грехов, он не умел говорить по-человечески, зато в тюрьме орал и бесился, как самый настоящий "враг народа" и шпион.

Игра наша, конечно же, велась в строгой тайне — так было интересней — никто во дворе не должен был о ней знать, но Мирчик, разумеется, опять проболтался и выдал нашу тайну самому Лешке-Атаману.

Мы играли обычно у нас дома, так как у меня была отдельная большая комната, где нам не мешали взрослые, и мы могли вытворять все, что вздумается.

И вот Атаман, законный властитель нашего двора, пожелал, чтобы я его позвал к себе посмотреть, что там химичат его мудрецы,

...Лешка-Атаман считался самым сильным не только в нашем дворе. Ни в "Америке", ни в "Шанхае" никто не мог с ним сравниться — в шестнадцать лет он уже, как взрослый, работал молотобойцем на "Серпе и Молоте", ему ничего не стоило одним мизинцем выжать двухпудовую гирию! Правда,

в школе он доучился только до четвертого класса и в каждом классе сидел по два года.

Делать было нечего. Пришлось пригласить Атамана посмотреть на нашу игру против воли няньки, которая опасалась впускать "этого бандюгу" в квартиру — она боялась, что он что-нибудь стянет, но Атаман меня ни разу не подвел.

Он явился преисполненный достоинства, как и положено настоящему атаману, снисходящему к такой мелюзге, как мы с Колдуном, не говоря уж о Сопле, который был на два года младше нас. Держался он сперва развязно, по-хозяйски осматривал мою комнату, потом заглянул без спроса в папину... и оторопел. Вся спесь вдруг с него слетела, и он превратился из Атамана просто в большого растерянного подростка.

Оказалось, что он в жизни никогда не видел, чтоб у кого-нибудь в комнате было так много книг. Я объяснил ему, что мой папа — красный профессор, научный работник, экономист, знает четыре иностранных языка, и поэтому у него четыре тысячи книг.

Лешка, так и не осиливший в школе таблицы умножения, преисполнился необычайного почтения к моему папе и перестал презрительно относиться к нам, "мудрецам".

Более того, он напросился, чтобы мы приняли его в свою игру, и мы, конечно, предоставили ему самый высокий пост в нашем КГБ. Ведь он был самым старшим из нас и по возрасту, и по положению, а главное, он был настоящим пролетарием, работал на "Серпе", не то, что мы.

Сережка-Колдун сказал, что в коммунистическом государстве самое главное — диктатура пролетариата и предложил назначить Атамана Главным Пролетарским Диктатором, который будет командовать всем нашим государством, а мы должны будем ему подчиняться.

В нашем государстве Атаман установил такой же Закон, какой действовал во дворе. Сколько мы его ни убеждали, что при коммунизме будет другой Закон и все будут равны, он этой идеи уразуметь не мог. Не доходило до него, хоть кол на голове теши!

У Атамана были свои аргументы: разве может он, Атаман, быть равным Сопле? Ведь он Соплю одним щелчком может пришибить. Или разве могут быть "огольцы" равны "лягавым"? Разве могут эти "американские вахлаки" и "сизари из Шанхая" быть равными нашим новодомовским "огольцам"?

В разгар наших игр случилось непредвиденное: у Мирчика-Сопли, нашего наркома НКВД, арестовали папу, коммуниста из Румынии. Мирчик сказал нам, что его папу арестовали по ошибке, получилось какое-то недоразумение. Но он, бедняга, был так расстроен случившимся, что ушел с поста наркома НКВД и вообще прекратил играть в нашу игру.

Вскоре после наркома НКВД такая же участь постигла и военного наркома, то есть меня. На этом наше Коммунистическое Государство Будущего распалось.

Как известно, я в дальнейшем не стал крупным военным деятелем, Сережка-Колдун пропал без вести, не успев стать министром иностранных дел или большим дипломатом, о чем он мечтал. Мирчик тоже не стал славным чекистом, его жизнь трагически оборвалась в Таганской тюрьме, куда он угодил за попытку ограбления хлебной палатки в голодном 1943 году. Связался с какой-то шайкой без нас.

Атаман тоже пока еще не стал Главным Пролетарским Диктатором. Правда, фамилия его время от времени проскальзывает в официальных сообщениях вместе со словами "ответственный работник ЦК КПСС". И кто знает...

В начале его послевоенной карьеры мы встретились пару раз. Один раз у него дома на Покровке, когда в семейном кругу за бутылкой "Московской" я рассказывал о своих военных приключениях. Вторая встреча была в райкоме, где он работал заведующим промышленным отделом. Он помог мне тогда с жильем. Тогда же он мне и признался, что почувствовал вкус к партийно-государственной деятельности именно с нашей детской игры, которая явилась переломным моментом в его юности.

Как-то я еще раз заходил в райком, но мне сообщили, что Алексей Васильевич уже не работает там — направлен на учебу в Высшую партийную школу.

Атаман вышел на орбиту, наши пути навсегда разошлись. Спустя много лет мы столкнулись случайно лицом к лицу на Ленинском проспекте, возле моего дома. Он вышел из "Зоомагазина" с клеткой, в которой что-то трепыхалось, и направился к проезжей части, а я шел мучимый тяжелыми раздумьями по тротуару. На его властном лице, словно высеченном из камня, красовались стильные очки с дымчатыми стеклами, на лацкане джерсового костюма алел депутатский значок.

От неожиданности я вскрикнул: "Атаман!"

Каменная маска мигом слетела с его лица — "Китаец", ты еще здесь?! — спросил он не то радостно, не то удивленно.

Сначала его вопроса я не уловил.

— Как видишь...

— А мы с женой тебя вспоминали недавно, на день Победы, как ты воевал. Я еще сказал: "где мой Левка-то, небось, умотал уже к своим в Израиль". "Израиль" он произнес с сильным ударением на последнем слоге.

Атаман торопился: у внучки день рождения!

Напротив магазина его ждала черная "Чайка", из машины он махнул мне.

— Ну бывай, привет семейству...

Я еще долго стоял, глядя вслед удаляющейся "Чайке" с цековским номером.

Почему Атаман наперед знал то, что еще только смутно бродило во мне? Может, потому, что набрался он марксистско-ленинской науки, которая позволяет все предвидеть? Может, даже диссертацию защитил на тему о пролетарском интернационализме? Нет, просто остался Атаман верен неписаному Закону Двора, но теперь в масштабе всамделишного государства, а не игрушечного; Закону, согласно которому, я по пункту пятому давно уже не числюсь в категории "своих".

ГОСУДАРСТВО МОЕЙ БАБУШКИ. Я И МАРШАЛ ТУХАЧЕВСКИЙ

Когда мы с нашей пролетарской окраины за Рогожской заставой приезжали на трех трамваях к моей бабушке (ездили мы к ней каждый выходной, такое уж у нее было правило, чтобы в эти дни все ее дети и внуки собирались на обед есть фаршированную рыбу), мы как будто попадали из СССР в какую-нибудь заграничную страну, куда-нибудь в Германию или даже Америку...

Каждое независимое государство, большое или маленькое, имеет свою территорию, на которую иностранцев пускают только по специальным пропускам-визам, имеет охраняемые границы, собственную армию в отличной от других армий военной форме и, конечно, собственное правительство.

Государство, в котором жила моя бабушка вместе с дядей Марком, старшим братом папы, вполне удовлетворяло всем этим условиям. Оно занимало довольно обширную территорию по улице Серафимовича между Большим и Малым Каменным мостом, почти напротив Кремля через Москву-реку границы его были надежно защищены высокими железными решетками с острыми пиками и железными воротами, которые бдительно охраняла вооруженная стража. Иностранцев пропускали на территорию по специальным пропускам, которые оформлялись со всеми строгостями: с предъявлением паспортов, печатями, подписями и отметкой времени прибытия и убытия. Это было государство с собственной армией, более многочисленной, чем в Великом Княжестве Люксембург, одетой в черные фуражки, черные куртки, черные брюки навыпуск и белые перчатки. Что же касается правительства, то, собственно говоря, все население этого государства и состояло из правительства, его чад и домочадцев.

В Москве оно так и называлось "Дом Правительства" или сокращенно "ДОПР".

Многоэтажная громадина с тремя огромными внутренними дворами, собственным универмагом, двумя кинотеатрами,

клубом, с многими сотнями шикарных квартир с фантастическими удобствами: горячей и холодной водой, газом, мусоропроводом, с рядами сверкающих черным лаком и никелем автомашин заграничных марок: "бьюиков", "шевроле", "паккардов", "линкольнов" у подъездов — так вот, высилась эта громадина среди убогих, замызганных домишек старого Замоскворечья, как неприступная крепость.

Это было государство в государстве.

Дядя Марк был ответственным работником в Наркомате оборонной промышленности, и поэтому ему вместе с бабушкой дали там квартиру. До этого он работал за границей, был советским торгпредом в Швеции и Чехословакии*. Он был холостяком. Дядя всегда брал бабушку с собой за границу — она была дока по части коммерции — ведь много лет ей приходилось делать хозяйственные закупки на Одесском Привозе.

После наших шумных дворов, где с утра до вечера стоял крик и гам, где по крышам носились голубятники с шестами, где после работы все взрослое население со страшным стуком забивало козла, где пели под гармонь "Кирпичики", "Когда б имел золотые горы", "Хазбулат удалой" и плясали "Цыганочку", — двор в бабушкином доме казался мне вымершим. Он был весь покрыт начищенным асфальтом, кроме газонов с цветочными клумбами и надписями "ходить запрещается", или "сорить запрещается", или "шуметь запрещается".

Интересно мне было только в квартире у бабушки, особенно в комнате дяди Марка, служившей ему кабинетом и спальней. Там между стенкой и письменным столом обычно стоял целый ряд настоящих винтовок и охотничьих ружей разных систем. Некоторые из них были с надписями: "Маршалу товарищу Климу Ворошилову от коллектива Тульского оружейного завода" или "Маршалу С.М. Буденному от рабо-

* Теперь его внешнеторговые заслуги приписаны популярному киноактеру Тихонову, сыгравшему роль некоего Крайнова (если не ошибаюсь) в кинофильме "Человек с другой стороны", где шла речь о первой внешнеторговой операции в Швеции — закупке паровозов и вагонов.

чих Ижевского завода". Оружие было незаряженным, и дядя Марк разрешал мне с ним играть.

Разумеется, ни Лешка-Атаман, ни Сережка-Колдун не верили тому, что я держал в собственных руках винтовку Ворошилова, Буденного или Тухачевского, но я не мог привести их в Дом Правительства, чтобы они смогли собственными глазами убедиться в истинности моих слов.

А я был ужасно горд: кому еще в стране выпала честь держать в своих руках оружие всех маршалов!

Помимо винтовок и пистолетов, я мог видеть и самого маршала Тухачевского, который жил в бабушкином подъезде. Однажды мы даже с ним вместе спускались в лифте.

Конечно, Тухачевский был не таким знаменитым, как Ворошилов и Буденный, про него не было песен и маршей, но все-таки он был маршал! К тому же, он был громадного роста и казался мне похожим на какого-то былинного богатыря или витязя из сказки — когда выходил из подъезда в высоком остроконечном суконном шлеме и длинной до самой земли шинели с золотыми звездами на воротнике и двумя рядами блестящих пуговиц. Он был такой мужественный, что даже гражданские вытягивались перед ним в струнку и отдавали ему честь.

Бабушка говорила: "Товарищ Тухачевский самый военный мужчина во всем СССР!"

Как-то мы стояли внизу с дядей Марком и ждали лифта. Когда лифт спустился, оттуда вышел обычный человек без шапки, в пальто и в костюме. Вдруг вахтер Степан Афанасьевич, который всегда с револьвером на боку сидел за столиком у внутреннего телефона — он жил в особой квартире на первом этаже рядом с лифтом — вскочил, как угорелый, бросился к двери подъезда и замер там, щелкнув каблукими и взяв под козырек. Дядя Марк, такой солидный, в шляпе, тоже вдруг вытянулся и взял под козырек — оказалось, что этот человек был Тухачевский. Я его не узнал и был очень удивлен: как это маршал может ходить в обычной одежде? Если бы он мне встретился на улице, я даже не подумал бы, что этот обычный дяденька — маршал Тухачевский!

Впоследствии, когда Тухачевский оказался "врагом народа" и шпионом, этот случай не давал мне покоя. Я был убежден, что он действительно шпион: иначе зачем ему надо было переодеваться? Это очень подозрительно.

Разумеется, я больше уже не хвастался, что видел Тухачевского. В армии на политбеседах нам часто говорили: "Как хорошо, что вся эта банда изменников и предателей — Тухачевский, Якир, Косиор, Уборевич еще до войны была своевременно разоблачена и уничтожена. Нельзя себе даже представить, что произошло бы, если бы эти шпионы в момент вероломного нападения фашистской Германии оказались в рядах Красной Армии! Надо сказать спасибо товарищу Сталину за то, что он, с присущей ему мудростью, предотвратил эту страшную опасность и спас нас всех от гибели!"

Когда я слышал это, меня аж мороз продирает по коже. Я вспоминал Тухачевского в пальто и мысленно благодарил товарища Сталина за его мудрость. И еще я думал: как хорошо, что никто не знает, что я видел этого изменника и даже один раз ехал с ним в лифте! — меня бы разорвали на куски...

Дядя Марк был начальником отдела Наркомата, к которому относились всякие конструкторские бюро и институты. С известным конструктором советской авиации профессором Туполевым он был не только связан по работе, но и дружил. Туполев иногда бывал у него — специально заходил покушать бабушкину фаршированную рыбу, как он утверждал. Бабушку он называл "мамашей" и любил поговорить с ней за жизнь. Он был очень веселым человеком, любил пошутить.

Бабушка хорошо разбиралась в людях, она очень уважала профессора. Но она в нем ошиблась. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Туполева я видел несколько раз и у дяди и в Наркомате, куда дядя меня иногда брал посмотреть всякие модели самолетов, которые находились в его кабинете.

Своих детей у дяди Марка не было, и он был очень привязан к племянникам, а ко мне в особенности, после того, как умерла моя мама. Он даже намеревался меня усыновить и,

если бы не болезнь и смерть бабушки, он, наверно, это осуществил бы.

Бабушка стала таять буквально на глазах. У нее обнаружили рак.

Наши семейные сборы пришлось отменить.

Удары, обрушившиеся на нашу семью, начались с бабушкиной смерти. Из всех несчастий самым ошеломляющим явился для меня арест дяди Марка. Он был арестован по так называемому делу Туполева.

После похорон бабушки дядя Марк оказался в кремлевской больнице с сердечным приступом. Прямо оттуда его забрали в Бутырскую тюрьму.

Как обычно от меня все это долго скрывали.

Все взрослые в нашем семействе трогательно оберегали друг друга от всяких волнений и неприятностей.

Когда у папы начались неприятности, это стали скрывать от бабушки, чтобы она не нервничала и не переживала.

Когда выяснилось, что у бабушки рак, это стали скрывать от дяди Марка, потому что у него большое сердце и т.п.

А в конце концов получалось только хуже. Верховодила этой тайной политикой тетя. Что касается меня, то у нее вообще была такая теория, что детям нечего совать нос в дела взрослых.

Поэтому от меня пытались скрыть все: и арест отца (в этот момент я жил в деревне у няньки), и смерть бабушки, и арест дяди Марка...

Как только меня ни обманывали, на какие только ни шли ухищрения ради моей же пользы — чтобы меня уберечь, чтобы я не страдал.

А я, между прочим, все знал: нянька мне все выкладывала. Она, по простоте своей, этой тетиной политики не понимала и считала, что в семье ничего нельзя друг от друга скрывать.

Массовые аресты в Доме Правительства начались еще при жизни бабушки. По словам тети, умирая, бабушка сказала: "Наш вождь, товарищ Сталин, делает революции аборт".

Катастрофа бабушкиного государства произошла на моих глазах. Конечно, оно не провалилось на морское дно, как Атлантида, и не было разрушено извержением вулкана, подобно Помпее. Если бы в 1937-38 годах существовало атомное оружие, то можно было бы даже предположить, что в Доме Правительства тогда взорвалась нейтронная бомба, уничтожившая человеческие жизни, но не повредившая сам дом. Он, по-прежнему, высится возле Большого Каменного моста, а об испарившихся его обитателях напоминает лишь несколько мемориальных досок на его угрюмых стенах.

Хорошенький дом: поговаривают, будто в полнолуние по нему бродят призраки, пугая до смерти теперешних жильцов: призрак любимца партии Бухарина, призрак славного маршала Тухачевского, призрак вождя социалистической промышленности Куйбышева и сотни других. Если бы мой друг детства и наставник Карл Маркс проживал в Доме Правительства, скорее всего, сам бы оказался в рядах этой бессмертной гвардии, и тогда, возможно, по-иному зазвучал бы его бессмертный лозунг: "Призрак бродит по Европе, призрак коммунистов".

Туполев не стал призраком, он остался жив. О предательстве Туполева на фронте было широко известно. Я не раз слышал разговоры, что немецкие истребители — "Мессершмитты", намного превосходящие советские по своим летным и боевым качествам и наносившие нам большой урон, на самом деле сконструировал Туполев и что якобы еще перед войной он выдал все секреты и чертежи немцам.

За это подлое предательство Туполева ненавидели люто, еще больше, чем Тухачевского и прочих "врагов народа".

Как известно, после войны Туполев был реабилитирован и стал одной из наиболее популярных в Советском Союзе личностей, получив все наивысшие звания, чины и награды. Имя его буквально стало легендарным благодаря его вкладу в развитие советской авиации.

Думаю, что Туполев никаких тайн немцам не продал, но то, что он продал моего дядю, Марка Самойловича Миронова (Поляка), это — факт.

Дядя Марк погиб на Колыме в 1943 году примерно в то время, когда я высаживался на Керченский плацдарм, О гибели его мы узнали лишь через пять лет.

А на кратком свидании с тетей в больнице Бутырской тюрьмы он сказал: "Я ни в чем и ни перед кем не виноват, если я погибну, то знайте — меня оклеветали Туполев и Преображенский".

Разумеется, тетя, верная своей политике, не открывала мне тайны до тех пор, пока академик Туполев, генерал-полковник, генеральный конструктор, многожды герой и лауреат, не был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по нашему избирательному округу.

И тогда тетя поведала мне обо всем, чтобы осуществить свой план отмщения: мы с ней вычеркнули фамилию кандидата в депутаты Туполева из избирательного бюллетеня.

И это с моим-то легендарным прошлым!

Перед вступлением в бой на Керченском плацдарме, после того, как нам выдали по "сто грамм", полк решил дополнительно подзаправить. Под свист снарядов ансамбль дивизионных придурков исполнил перед нами свой коронный номер "Марш Энтузиастов":

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых...

и я вместе со всем полком подхватывал вдохновляющий припев:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,

Нам не страшны ни льды, ни облака...

Кажется, в те минуты я, еще не будучи придурком в стрелковой роте, принял решение повторить подвиг Матросова.

Мог ли я тогда представить себе, до какой жизни докачусь? Что совершу антигосударственный акт, за который в доброе старое время, если бы узнал кто следует, меня бы отправили еще подальше, чем Туполева, — чтобы знал наперед, как выполнять свой гражданский долг.

(Продолжение в следующем номере).

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«Континент» № 15

С о д е р ж а н и е

Александр Галич — С последней ленты. Два стихотворения.
Александр Суконин — Романс в прозе. Рассказ.
Зоя Афанасьева — Царскосельские строфы.
Яцек Березин — Поезд.
Димитрий Бобышев — Зияния.
Софья Мотовилова — Предсмертное письмо.
Рышард Криницкий — Стихи.
Гелий Снегирев — Мама моя, мама... Окончание.

СТИХИ

Иван Елагин — Личное дело.
Василий Бетаки — Три стихотворения.
Антанас Шкема — Лифт.

МАСТЕРСКАЯ

Э. Лимонов — Стихи. С послесловием Иосифа Бродского.

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Анатолий Федосеев — Почему вы не должны быть социалистом.
Наум Мейман — Монумент у Бабьего яра.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Василий Михальчук — Сила наших дней.
Тончо Карабулков — Последний надежный спутник?

ЗАПАД - ВОСТОК

Милован Джилас — Идеология пишет историю.

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Два письма о Высшей Цели и Великой Эволюции.

Н. В. Гоманьков — В. Ф. Турчин.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИСТОКИ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ, НАША ПОЧТА, КОЛОНКА РЕДАКТОРА, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Главный редактор журнала - ВЛАДИМИР МАКСИМОВ
Представитель в Израиле - Михаил Агурский. Мирот, 6/30, Иерусалим.
"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ.,
Пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ., включая пере-



A. Neimanis-Buchvertrieb

**Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY
Tél. 37-05-34**

Александр Иванович Введенский (1904-1941) — один из самых талантливых представителей обериутов — авангардистской литературной группы конца двадцатых годов. К обериутам принадлежали молодые ленинградские поэты и прозаики Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий и другие. Они были учениками В. Хлебникова и примыкали к художникам левого направления Малевичу и Филонову.

В последние годы интерес к обериутам значительно усилился, произведения Хармса и Введенского уже появляются в зарубежных русских изданиях и публикациях славистских кафедр университетов.

Предлагаемые в этом номере стихи 1929-30 годов ранее нигде не печатались.

СТИХИ ВВЕДЕНСКОГО

ЗЕРКАЛО И МУЗЫКАНТ

Посвящается Н.А. Заболоцкому

В комнате зеркало. Перед зеркалом музыкант Прокофьев, в зеркале Иван Иванович.

Музыкант Прокофьев:
Иван Иванович, ты хмур,
ты хмур, печален и невесел,
как тучка голову повесил,
Иван Иванович, ты амур.

Иван Иванович (осваиваясь):
Река или божок?
Если река,
то я водянист,
если божок,
то разумом чист.

Музыкант Прокофьев:
Ты бог, конечно. Посмотри,
желтеют твердые цветочки
с безумным камешком внутри.
Они забавные кружочки,
значки бесчисленных светил.

Иван Иванович:
А ты их посетил?

Музыкант Прокофьев:
А как же? Посещал не раз,
положим мысленно...

Иван Иванович:
И что же?

Музыкант Прокофьев:
Да там все то же,
как у нас.
Допустим — выглянет звезда
из своего гнезда
и залетает будто муха.
Я мигом напрягаю ухо,
я тихо в зверя превращаюсь
и обонянье напрягаю.
Вот в неподвижность я пришел,
и сел на стол,
и стал как столб,
чтоб уловить звезды дыханье
и неба скучное рыданье.
Потом присел на табурет
и созерцал небес портрет.

Иван Иванович:
И какова была картина?

Музыкант Прокофьев:
 Весьма печальна и темна,
 Непостижима для меня, умна.
 Смотри — в могильном коридоре
 глухое воет море,
 и лодка скачет как блоха —
 конечности болят у лодки.
 О, лодка, лодка, ты плоха,
 ты вся больна от ног до глотки.
 А в лодке стынет человек,
 он ищет мысли в голове,
 чтоб все понять и объяснить
 и чтоб узнать движенья нить.
 Как звать тебя, существо? —
 спрошу спокойно его.
 Ответит: звали Иваном,
 а умер я под диваном.

Иван Иванович:
 Скажи, скажи, какой несчастный,
 какая скудная кончина,
 о, как мне жаль тебя, мужчина,
 ты весь как будто сон ненастный.
 Я слышу голос твой вещальный
 Я плачу — херувим зеркальный.

Вбегающая мать:
 Иван Иванович, ты божок
 ударь в тарелку, дунь в рожок,
 в стекле испуганном и плотном
 тебя мы видим все бесплотным,
 ты не имеешь толщины
 как дети, люди и чины.

Музыкант Прокофьев:
 Однако, подойдя к окошку,
 я вижу ночь и хмурю дорожку,

и на дорожках этих узких
 я вижу разных птичек русских.
 Вот это зяблик, это ворон,
 вот соловей с березки сорван.
 Вот потрясающий как филин
 сидит на дереве Томилин
 и думает, что он сова,
 и составляет он слова.

Иван Иванович:
 Да, это я умею,
 хотя подчас немею,
 не в силах выразить восторга
 пред поведением Наркомторга.
 Смотрите все:
 цветы стоят на расстоянии,
 деревья мокрые в росе
 фигуры гнут как девы Тани,
 услышите все:
 из-под земли несутся ноты,
 бегут бобры, спешат еноты,
 все звери покидают норы,
 минорные заводят разговоры
 и на своем животном языке
 ругают Бога, сидя на песке.
 Ты, Бог наш, плох,
 ты, шар наш, худ,
 от толстых блох
 свирепый зуд.
 Сердиты мы, владыка всех владык,
 и в дикой ярости надует свой кадык.

Входящая бабушка:
 Собрание этих атеистов
 напоминают мне моря
 ругательств умных сатанистов,
 их мысли будто якоря

застрял в канавах
и в человеческих тяжелых нравах.
Представим все отсутствие земли,
представим вновь отсутствие всех тел
тогда войдут бездушные нули
в сей человеческий отдел.
Побледнеет как ланита
минеральная планета,
вверх покатится источник
и заплачет, загрохочет,
скажет голосом песочник,
что он сыпаться не хочет,
что он больше не песок,
всадник мира и кусок.

Иван Иванович:
Странно это все у вас,
на столе пылает квас,
все сомненья разобьем —
в мире царствует объем,
окончательный закон
встал над нами как балкон.
Говорил философ Кант:
я хотя не музыкант,
но однако понимаю
звуков чудную игру,
часто мысли вынимаю
и гуляю на пиру.
Суп наперченный вкушаю
ветчину и рыбу ем,
мысли, мысли, не мешаю
вам пастися между тем.
Между тем пасутся мысли
с математикой вдвоем,
мы физически прокисли,
давит нас большой объем,
а они и там и тут
бессловесные растут.

Музыкант Прокофьев:
Неужели мы все так всесильны?

Иван Иванович:
Да, по чести все скажу:
я, допустим, из красильной
нынче утром выхожу,
относил туда свой фрак,
чтоб он мне напомнил мрак.
По земле едва шагаю,
за собой не успеваю,
а они вдруг понеслись.
Мысли — я сказал — вы — рысь!
Мысли, вы быстры, как свет.
Но услышал и ответ:
— Голова у нас болит,
Бог носиться не велит,
мир немного поредел,
а в пяти шагах — предел.

Музыкант Прокофьев:
Чем же думать?
Чем же жить?
Что же кушать?
Что же пить?

Иван Иванович:
Кушай польку,
пей цветы,
думай столько,
сколько ты.

Ноябрь 1929 г.

Человек веселый Франц
 сохранял протуберанц
 от начала до конца
 не спускался он с крыльца
 мерял звезды, звал цветы
 думал он что я есть ты.
 Вечно время измеряя
 вечно песни повторяя
 он и умер и погиб
 как двустволка и полип.
 Он пугаясь видел юбку
 фантазируя во сне
 и садясь в большую шляпку
 плыл к задумчивой сосне
 где жуков ходили роты
 совершали повороты
 показав богам усы
 говорили мы часы
 боги выли невпопад
 и валялись в водопад.
 Там в развесистой траве
 созидался муравей
 и светляк недобрый царь
 зажигал большой фонарь.
 Молча молнии сверкали
 звери фыркали в тоске
 и медлительно рычали
 волны лега на песке.
 Где же? где все это было
 где вращалась эта местность
 солнце скажет: я забыло
 опускаясь в неизвестность.
 Только видно нам у Франца
 появляется из ранца

человеческий ровесник
 и психолог божества.
 Объявляет нам кудесник
 вмиг начало торжества.
 Звезды праздные толпятся
 люди скучные дымятся
 мысли бегают отдельно
 все печально и бесцельно.
 Боже что за торжество
 прямо смерти рождество
 по заливам ходят куры
 в зале прыгают амуры
 а железный паровоз
 созерцает весь навоз.
 Франц проснулся сон зловещий
 для чего здесь эти вещи?
 тут как пальма стал слуга,
 сзади вечности луга.
 Невысокий как тростник
 спит на стуле воротник
 керосиновая ветвь
 озаряет полумрак
 ты кудесник мне ответь
 сон ли это? я дурак.
 Но однако где кудесник
 где психолог божества
 он во сне считает песни
 осыпаясь как листва.
 Он сюда придти не может
 где реальный мир стоит.
 Он спокойно тени множит
 и на небе не блестит
 Дайте турки мне карету
 Франц веселый возгласил
 дайте Обера ракету
 лошадиных дайте сил.
 Я поеду по вселенной

на прекрасной этой конке.
 Я земли военнопленный
 со звездой устрою гонки
 с потолка взгляну на мох
 я синица я горох.
 Между тем из острой ночи
 из пучины злого сна
 появляется веночек
 и ветвистая коса.
 Ты сердитая змея
 смерть бездетная моя
 здрасте скажет Франц в тоске
 в каждом вашем волоске
 больше мысли чем в горшке
 больше сна чем в порошке
 вы достаньте вашу шашку
 и разрежьте мне рубашку
 а потом разрежьте кожу
 и меня приклейте к ложу.
 Все равно жива наука
 я хрипя проговорю
 и себе на смену внука
 в виде лампы сотворю
 будет внук стоять сиять
 сочинения писать,
 смерть сказала ты цветок
 и сбежала на восток.
 Одинок остался Франц
 созерцать протуберанц
 терять звезды сдать цветы
 составляя я и ты
 лежа в полной тишине
 на небесной высоте.

1929-1930

БИТВА

Неизвестно кто:

Мы двое
 Воюем
 В свирепую ночь
 И воем
 И дуем
 И думаем
 Дочь
 И эта война
 Как таинственный ствол
 Малютка вина
 И единственный вол
 Я думаю темя
 Проносится час
 С минутами теми
 На яблоке мчась
 Я тучу поймаю
 Другая спешит
 Я небо снимаю
 И демон пищит
 Летают болтают
 Большие орлы
 Мурлычат глотают
 Добычу ослы
 Но с кем ты воюешь
 Смешной человек
 И стоя тоскуешь
 Стучишь в голове
 Воюю со свечкой
 В ночной тесноте
 И памяти речка
 Стучит в темноте

Человек:

Человек ровесник миру
 В то же время с ним рожден
 Ходит с палкой по Памиру
 Удручен и поражен
 Где же где же он бормочет
 Где найду я сон и дом
 Или дождь меня замочит
 Кем я создан? Кем ведом?
 Наконец-то я родился
 Наконец-то я в миру
 Наконец я удавился
 Наконец-то я умру

Малютка вина:

Умираем
 Умираем
 За возвышенным сараем
 На дворе
 Или на стуле
 На ковре
 Или от пули
 На полу
 Или под полом
 Иль в кафтане долгополом
 Забавляясь на балу
 В пышной шапке
 В пыльной тряпке
 Будь богатый
 Будь убогий
 Одинаково везде
 Мы уносимся как боги
 К окончательной звезде
 Человек лежит унылый
 Он уж больше не жилец
 Он теперь клиент могилы

И богов загробных жрец
 На груди сияет свечка
 И едва открыв глазок
 Из ушей гнилая речка
 Вяло мочит образок
 А над ним рыдает мама
 И визжит его птенец
 Боже что за панорама
 Скажет мертвый наконец
 Вижу туловище Бога
 Вижу грозные глаза
 Но могила как берлога
 Над могилою лоза
 Умираю, умираю
 И скучаю и скорблю
 Дней тарелку озираю
 Боль зловещую терплю.

Ангел:

Это что за грозди?

Малютка вина:

Два бойца
 Два конца
 Посередине гвоздик.

Неизвестно кто:

Мы двое
 Воем
 Лежим
 И тлеем
 Слегка жужжим
 Бежим
 И млеем
 Летит над нами Бог зимы
 Но кто же мы?

Снег лежит
 Земля бежит
 Кувыркаются светила
 Ночь пигменты посетила
 Ночь лежит в ковре небес
 Ночь ли это или бес?
 Как свинцовая рука
 Спит безумная река
 И не думает она
 Что вокруг нее луна
 Звери лязгают зубами
 В клетках черных золотых
 Звери стучаются лбами
 Звери коршуны святых
 Мир летает по вселенной
 Возле белых жарких звезд
 Вьется птицею нетленной
 Ищет крова ищет гнезд
 Нету крова, нету дна
 И вселенная одна

Может изредка пройдет
 Время бедное как ночь
 Или сонная умрет
 Во своей постели дочь
 И придет толпа родных
 Станет руки завивать
 В обиталищах стальных
 Станет громко зазывать
 Умерла она исчезла
 В рай пузатая залезла
 Боже, Боже пожалей
 Боже правый на скале.
 Но ответил Бог играй

И вошла девица в рай
 Там вертелась вкривь и вкось
 Числа дома и моря
 В несущественном открыв
 Существующее зря.
 Там томился в клетке Бог
 Без очей без рук без ног
 Так девица вся в слезах
 Видит это в небесах
 Видит разные орлы
 Появляются из мглы
 И тоскливые летят
 И беззвучные блестят
 О как мрачно это все
 Скажет хмурая девица
 Бог спокойно удивится
 Спросит мертвую ее:
 Что же мрачно дева? Что?
 Мрачно Боже бытие.
 Что ты дева говоришь
 Что ты полдень понимаешь
 Ты веселье и Париж
 Дико к сердцу прижимаешь
 Ты под музыку паришь
 Ты со статуей блистаешь.
 В это время лес взревел
 Окончательно тоскуя
 Он среди земных плевел
 Видит ленточку косую
 Эта ленточка столбы
 Это Леночка судьбы.
 И на небе был Меркурий.
 И вертелся как волчок
 И медведь в пушистой шкуре
 Грел под кустиком бочок
 А кругом ходили люди
 И носили на руках

Десять пальцев на крюках.
 И пока все это было
 Та девица отдохнула
 И воскресла и забыла
 И воскресшая зевнула.
 Я спала сказала братцы
 Надо в этом разобраться
 Сон ведь хуже макарон
 Сон потеха для ворон
 Я совсем не умирала
 Я лежала и зияла
 Я взвивалась и орала
 Я пугала это зало.
 Летаргический припадок
 Был со мною между кадок.
 Лучше будем веселиться
 И пойдем в кино скакать
 И помчалась как ослица
 Всем желаньям потакать
 Тут сияние небес
 Ночь ли это или бес?

1929-1930

Вышла в свет на русском языке

Николаса Бетелла

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

Документальный захватывающий рассказ о выдаче советским властям более двух миллионов русских, казаков, украинцев и других в 1944-47 года.

*"Вот прочитана книга,
 о событиях, которых не знал
 и узнал только через тридцать
 лет... через тридцать лет..."—*

из послесловия Виктора Некрасова

Заказы направлять по адресу:
 STENVALLEY PRESS, 73 SUSSEX SQUARE,
 LONDON W2 2SS. Цена - 5 фунтов.

РЕПОРТАЖ О СОЖЖЕНИИ ЧЕМОДАНА

27 апреля 1978 года два художника, недавно приехавшие из Москвы, — Виталий Комар и Александр Меламид — устроили в Геенне (Гееноме), долине, расположенной под стеной Старого города, ритуальное действие. Они сожгли советский фибровый чемодан, привезенный Комаром из Союза в декабре. Как истинные концептуалисты, Комар и Меламид создали текст, поясняющий и дополняющий их действие, "Книгу Жреца и Учителя" (игра слов — Комар, с некоторой натяжкой можно перевести как "жрец", а Меламид, без натяжки как "учитель"). Вот отрывки из этого документа.

"Среди многих, живущих в России, стало брожение: возник вопрос как жить, и ощущение беспорядка, и охота к перемене мест. И были там среди тех, кого числили евреями, двое: Жрец и Учитель, и замаялись они и, вышедши на улицу, спросили: "Где Третий?" — и увидели в ответ две руки, кажущие собой треугольник, и поняли все, и сказали так: на сей земле ничему не быть, и ударили топором, и пошли к тем, кто разрешал уезжать, название коим было ОВИР... По прошествии семи месяцев сказали Учителю: "Едь!" — и взял он жену и детей малых, полетел и сел у Иерусалима в Мевассерете.

А Жрец, через месяц после отъезда Учителя, созвал народ, наколот палец и кровью своей начертал треугольник и сказал: Се — Храм, стоять ему в Гееноме...

По прошествии двух месяцев после отъезда Учителя сказали Жрецу в ОВИРе: "Едь!" — и взял он чемодан для жертвы, угодной Третьему,

и полетел, и сел возле Иерусалима в Мевассерете. Встретил Жрец Учителя в Лоде, и съели они там по апельсину, и трапеза сия да будет всегда.

И работали много Жрец с Учителем, чтобы быстрее сделать храм Третьему... Воздвигли Храм и Жертвенник в нем над щелью гееномовой, на жертвенник поставили поднос медный, засыпанный землей иерусалимской с чемоданом, привезенным Жрецом для жертвы, угодной Третьему. Зажег Жрец чемодан, и сгорел он весь, и заполнился Храм дымом, а народ вокруг кричал: смотрите и слушайте, будет чудо...

И ушли Жрец и Учитель соснуть, ибо устали, а когда вернулись, лежал Храм на боку, искореженный злыми руками, и собрали они Храм по кусочкам, завернули в тряпицу, обвязали шнуром и взяли с собой...

Пришли Жрец и Учитель в Гееном на место то, где был Храм, и возопили Третьему: "Что дальше?" — и сказал Третий: "Идите ко мне..."

И сказал Третий: "Я призвал вас, чтоб устами вашими сказать всем: "Конец им. Кончились дни безумия, начались дни Конца. Я ем огонь, и во мне они сгинут — мразь они и вода, и не будет воды, только огонь — Я".

И сказали так Жрец и Учитель: "Кончились дни бывшие, начались дни Будущего".

Текст этот может показаться кощунственным, и, видимо, все действие так и было расценено некоторыми. "Храм" — пятиметровая башенка из стали и алюминия, раскрашенная в красный цвет, с "жертвенником" в форме пятиконечной звезды, — скорее всего разрушен был не случайно.

Впрочем, есть и иные толкования.

Сожжение российского чемодана — это сожжение прошлого во имя будущего, ритуализованное стремление начать новую жизнь на новой земле. Однако, новая земля — это не реальный Израиль, страдающий всеми пороками современного западного общества, а некое провидимое авторами царство свободных индивидуальностей, пророками которого они себя чувствуют. Третий — это Бог, Бог свободы, объявляющий конец старому миру. Почему "Третий"? Расшифровка проста. Двое — Комар и Меламид, а третий с ними. Три — особое число на Руси. Оно имеет хорошо известный религиозный смысл, но каков смысл троичности в понимании Комара и Меламида? Можно пуститься по совсем иному кругу ассоциаций и вспомнить символ современной русской действительности — распятие на троих...

Юмористическая провокация присутствует и в выборе места для "Храма". В Гееноме, как известно, приносились жертвы Молоху. Оттого свершённое умышленно оставляет простор для разных интерпретаций.

Комар и Меламид, пожалуй, самые известные на Западе нон-конформисты из России. О них пишут в ведущих американских журналах, им посвящены целые страницы израильских газет, их первая выставка пользовалась шумным успехом в Нью-Йорке, когда они еще жили в Москве. В чем причина такого интереса и популярности?

В бытность свою в Союзе художники так определяли свое кредо: "В капиталистическом мире, в Америке, существует перепроизводство вещей, продуктов потребления. У нас же, в СССР, существует перепроизводство идеологии. Ваш поп-арт делает своим объектом банку томатного супа, а наш Соц-арт (их собственный термин. — Г. К.) делает объектом исследования массовый советский плакат".

Продукция советского идеологического ширпотреба в течение многих лет поставляла материал для веселой и злой фантазии художников. Одна из их работ этого периода называется "Гамбургер "Правда". Они разрезали на кусочки номер "Правды", пропустили через мясорубку, слепили "гамбургер" и выставили его в стеклянном ящичке, сопроводив фотографиями о создании сего объекта. На другой картине Комар и Меламид изобразили сами себя на медальоне с чеканными профилями советских героев.

Но от пародийных работ в духе поп-арта художники быстро перешли к концептуальному искусству, хотя чувство юмора не покинуло их.

Они создали, например, "Историю России" в шести картинах. На каждом холсте — группа людей, сидящих за столом. Фигуры столь миниатюрны, что не разобрать, кто это. Все объясняют подписи к картинам. Каждая из них изображает заседание, узаконивающее присоединение новых территорий к России. Первая — это "заседание" двора Ивана Третьего, решившее судьбу Новгородской республики. Последняя — Ялтинская конференция. Несоразмерно малые фигурки в центре огромных пустых картин подчеркивают гигантские пространства захватываемых территорий.

Некоторые их картины могут показаться абстрактными, но и эти работы всегда содержат послание, мысль. На картине "Идеологическая абстракция" изображен ряд цветных точек, причем каждому цвету соответствует, по разработанному художниками коду, буква русского алфавита. Расшифрованная картина представляет собой статью конституции, гарантирующую свободу слова и печати. Ирония в том, что абстрактная живопись, которой записана статья конституции о свободах, запрещена в СССР.

Тонкой сатирой являются и серии работ выдуманных ими художников. Как-то они нашли на помойке картину, подписанную "Н. Бучумов, 1917". Эта находка послужила поводом для выдумки биографии художника и его работ. Бучумов родился в конце прошлого века

в деревне, был художником-самоучкой, в десятых годах попал в Москву, один из центров тогдашнего авангарда. Поскольку он был "настоящим" реалистом и от души возмущался "чокнутыми" футуристами, ему приходилось, подобно Бенвенуто Челлини, иногда отстаивать свои убеждения в драке. Так ему случилось потерять правый глаз, и с тех пор на всех его картинах стал присутствовать его собственный нос — как истинный реалист, он не смог скрыть то обстоятельство, что когда смотришь одним глазом, видишь свой нос. Не выдержав бурной московской жизни, Бучумов сбежал в родную деревню и в течение многих лет рисовал один и тот же пейзаж в разные времена года, поставив своей задачей фиксацию изменений, происходящих в природе.

Комар и Меламид нарисовали шестьдесят четыре картины Бучумова — по четыре на каждый год творчества. Пейзаж действительно слегка меняется — растет дерево, исчезает в 1920 году церковь, очевидно, разрушенная большевиками. Но если осознать, что "творчество" Бучумова приходится на годы гражданской войны, коллективизации и чисток, замысел и насмешка авторов становятся очевидными.

Подав заявления на выезд, Комар и Меламид, как и все, кто прошел через эту процедуру, оказались людьми без гражданства. Однако, и эту жизненную ситуацию художники превратили в объект искусства. Они создали собственное государство, "Транс-Государство" с паспортами и денежными знаками, а также переносным пограничным пунктом. Вслед за Людовиком XIV, но, разумеется, в несколько ином смысле, они провозгласили "Государство — это я". Они открыли членство любому человеку на земле, "кто по своим взглядам выпадает из рамок существующих государственных систем и не соглашается с низведением своего "Я" до пустого звука в пространстве и бездушной буквы на бумаге". Транс-Государство, провозглашенное художниками, — это не государство в классическом смысле слова. Это — союз государств, каждое из которых состоит из одного члена. Этим уничтожается проблема взаимоотношения индивидуума и государства, между ними впервые ставится знак равенства. В веселье освобождения они даже адресовали послания главам больших государств с предложением признать их суверенитет и заключить договоры о взаимном ненападении.

Быть может, секрет успеха Комара и Меламида на Западе состоит как раз в том, что объектом их искусства часто оказывается их собственная биография, их личности, их мысли и чувства. По убеждениям и средствам выражения они — истинные анархисты, признающие лишь неограниченную свободу каждого индивидуума и с юмором ниспровергающие любые святыни. Этот подход, разумеется, близок левой западной интеллигенции, но в нем таится и опасность. Как ис-

искусство нигилизма, ориентированное на жизненный процесс, а не на абсолютные ценности, оно само может стать жертвой мимолетности жизни.

Галина **КЕЛЛЕРМАН**

Освобождение индивидуума от соблазна продвижения
по лестнице общественного успеха

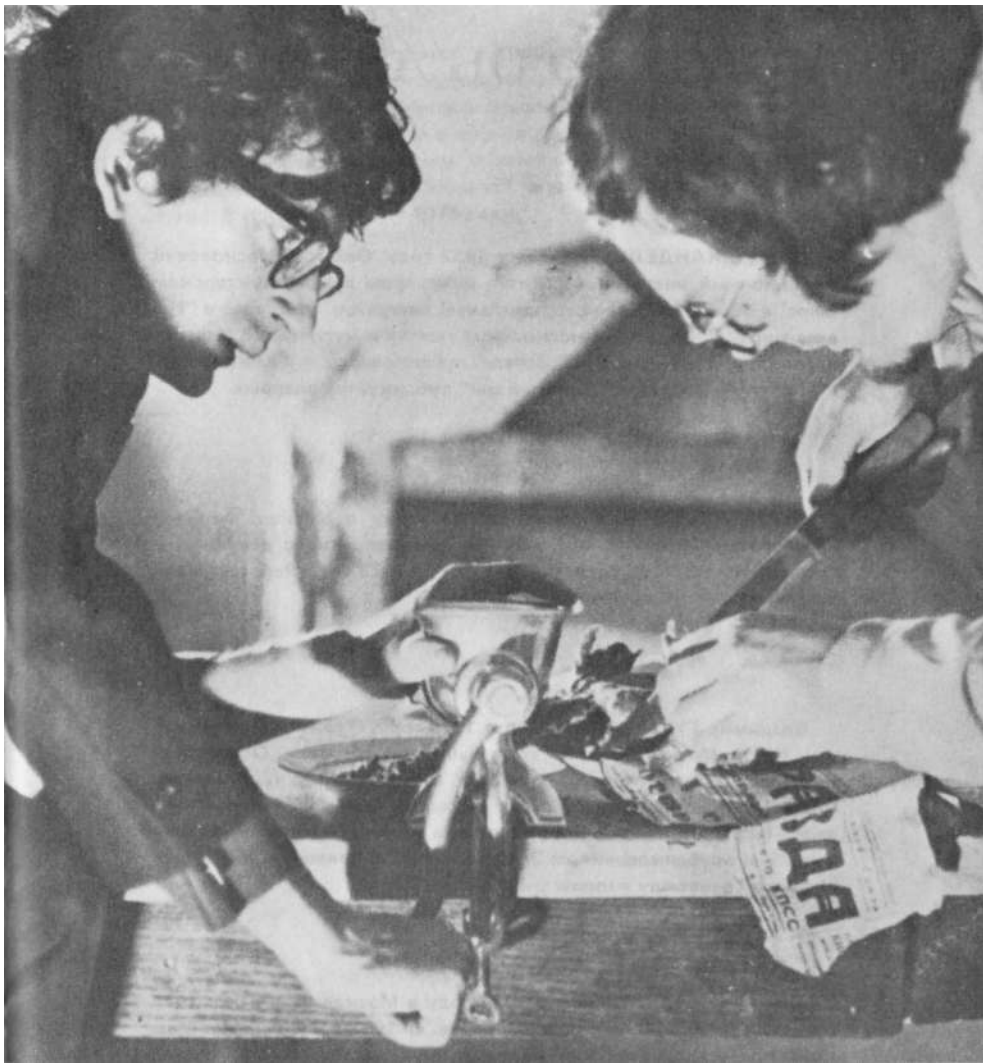
Александр Меламид и Виталий Комар





"Забьется о чистоте мыслей!"

< Здесь будет воздвигнут "Храм" Комара и Меламида



Изготовление "гамбургера"

<"Храм" перед началом действия

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Феликс КАНДЕЛЬ. Родился в 1932 году. Окончил Московский Авиационный институт и работал инженером в конструкторском бюро, с 1963 года — профессиональный литератор. Печатался в "Новом мире", "Юности", в московских газетах и журналах. В Израиле приехал в 1977 году. На Западе публиковался в "Континенте" и "Гранях". В журнале "Время и мы" публикуется впервые.

Анатолий ЯКОБСОН. Родился в 1935 году в Москве. Филолог и литератор. Известен как участник правозащитного движения в России с начала 1966 года. В Израиле — с 1973 года. Работает в Иерусалимском университете.

Владимир ГУСАРОВ. Родился в 1925 году. Окончил театральное училище в Москве. В 1952 году был репрессирован. Освободившись, работал некоторое время как актер театра и телевидения. После распространения в Москве рукописи "Мой папа убил Михо-эlsa" (отрывок из которой печатался в 12 номере журнала "Время и мы") и опубликования на Западе очерка "И примкнувший к ним Шепилов" отовсюду уволен.

Лев ЛАРСКИЙ. Родился в 1924 году в Москве. С 1941 по 1945 год участвовал в Отечественной войне. В 1952 году окончил Московский Полиграфический институт, художественно-оформительское отделение и работал художником в различных московских издательствах. В Израиле приехал в 1973 году.

Евгений ЦВЕТКОВ. Родился в 1940 году. Окончил физический факультет Московского государственного университета. Работал геофизиком в Институте физики земли АН СССР, там же защитил диссертацию. Затем перешел в журнал "Знание — сила", где работал заведующим отделом физики и химии. Автор многих статей и очерков, публиковался в "Неделе", журнале "Знание — сила" и других. В Израиле живет с 1976 года.

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

М. Г.

Tel. Columbus 5-5300

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; 6 мес — \$25.00; 3 мес — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; в месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой
в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.

"ВРЕМЯ и МЫ" — 1978 год.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 234 лиры

на 12 месяцев — 432 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта - 155)

на 12 месяцев — 184 (авиапочта - 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

бланк для ПОДПИСКИ на 1978 год на обороте

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 год

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высыпать с номера.....

Журнал высыпать по адресу..

Приложен чек.....

Подпись..... Дата..

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" можно по-русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel Aviv или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высыпать с номера.....

Журнал высыпать по адресу:

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123,

Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv



ВАМ ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ ИХ В «КОАХ ХАЙ КИФЛАИМ»

Если у вас есть облигации займа абсорбции и облигации займа «Брейра», выкуп которых начинается 1 апреля, то вам стоит зайти в ближайшее отделение банка «Леуми» и вложить эти облигации на счет «Коах хай кифлаим».

На этот счет вы можете внести до 36.000 лир и пользоваться следующими льготами:
Немедленный бонус в 10% — до 3600 лир.

Полное прикрепление вклада и бонуса к индексу цен*.

Накопительные проценты.
Освобождение от налогов.

Дополнительные подробности

во всех отделениях банка «Леуми»,

банка «Игуд» и банка «Аравн Исраэли».

* Если ваши сбережения будут лежать в течение шести лет.

ВАШ ДОБРЫЙ СОВЕТЧИК
BANK LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

* Облигации займа абсорбции и займа «Брейра» будут выкупаться с 1 апреля.

Зав. редакцией и корректор Марина Голубева
Художник Лев Ларский

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки:
А. Меламиди В. Комар. "Портрет молодого Маркса"

